



ЕВРОПЕЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Борис Фирсов

Остановка движения страны
(1964–1985 гг.)

Препринт М-52/16
Часть II

**Центр исследований
модернизации**



Санкт-Петербург
2016

УДК 316.323.72
ББК 63.3(2)63
Ф 62

Ф 62 Фирсов Б. М.

Остановка движения страны (1964–1985 гг.) / Борис Фирсов: Препринт М-52/16 (Часть II). — СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2016. — 74 с. — (Серия препринтов; М-52/16 (Часть II); Центр исследований модернизации).

В настоящем препринте представлена вторая часть доклада, посвященного кризису советской общественной системы, четко обозначившемуся в период брежневского правления, который получил название «застоя». Дискурс этого периода опирается на идею «дряхления» режима, чьим лозунгом был развитой социализм, а истинной целью — выживание и сохранение статус-кво. Драматический разрыв между словом и делом во многом определился неспособностью высших эшелонов партийно-государственной власти обеспечить грамотное руководство жизнью страны. Не малую, а возможно, даже главную роль в этом сыграло суррогатное, узкое, интеллектуально бедное, социально ущербное, по преимуществу технократическое образование, носителями которого было большинство политических лидеров страны на финальном этапе ее существования.

Информация об авторе: Борис Максимович Фирсов — доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге; firsov@eu.spb.ru.

Часть II, главы 6–8

Глава 6. Где, как учили и чему обучили поколение Брежнева?

§ 1. Пролетаризация образования

Либеральная традиция — освобождать науку, образование, культуру от всех видов регламентирования со стороны государства — не могла привиться на советской почве. Хорошо понимая, к примеру, роль, которую сыграли свободная наука и свободное искусство в подготовке умонастроений народа к революции, произошедшей в стране в октябре 1917 г., большевики не могли допустить расцвета инакомыслия в советское время. В этих условиях партия сделала ставку на монополизацию государственного (политического) контроля и цензуру. Главной «инновацией» стал контроль духовной сферы жизнедеятельности с помощью постоянно изобретавшихся учреждений-монстров. Одним из таких монстров был Наркомпрос. К его ведению по старой традиции сначала отнесли образование, а следом за ним — литературу, печать, изобразительное искусство, кино, театр, музыку. Одним словом, процесс пошел [Пайпс 1997: 343–404]. Первым дочерним предприятием Наркомпроса стал Госиздат (декабрь 1917 г.); следующий шаг — открытие Отдела ИЗО для контроля за бурной экспериментаторской деятельностью художников и скульпторов (январь 1918 г.) и закрытие Российской академии художеств (апрель 1918 г.). Следующий шаг — введение государственной монополии на

бумагу (май 1919 г.), которая позже органично (если иметь в виду общий замысел — ограничить свободу самовыражения) дополнилась монополией государства на продажу книг и других печатных изданий. К ИЗО вскоре добавили МУЗО для распорядительства музыкальной жизнью страны; затем произошла национализация театров и цирков, а руководство над ними было передано Центроттеатру (август 1919 г.). В 1920 г. был учрежден Главполитпросвет — новое идеологическое учреждение с задачами просвещения народных масс. Вскоре учредили орган цензуры — Главлит (июнь 1921 г.) — с задачей пресекать агитацию против советского строя, если таковая будет появляться в публикациях и живописном материале. Правда, этого показалось мало, и у Главлита вскоре появился меньшой брат — Главрепертком. Замыкало этот ряд Госкино (декабрь 1922 г.) — учреждение, призванное заниматься кинематографом — важнейшим, по определению Ленина, искусством. Исключение здесь составила Академия наук — вплоть до конца 1920-х гг. она сохраняла свою относительную экстерриториальность в системе государственных учреждений, хотя уже с начала 1920-х гг. в Наркомпросе существовало координирующее науку ведомство — Главнаука.

Несмотря ни на что, слой свободных интеллектуалов либерального толка существовал в первые годы советской власти, но и лидеры этого течения (речь о тех, кто встал на сторону власти) должны были следовать партийным лозунгам и программам. Эта особенность хабитуса интеллектуалов осознавалась властями предрежущими. Известно высказывание Луначарского, наркома просвещения, относящееся к концу 1917 г.: «Интеллигенция за редким исключением ненавидит нас лютой ненавистью» [Берлявский 2012: 380].

Профессуру безапелляционно считали буржуазной. Она приветствовала Февраль, но у нее были основания «холодно и отстраненно» относиться к Октябрю. Пугали ученых утопии перекройки мира, пугало слишком прямолинейное деление на классы (как сказал один из ученых, «я только что узнал, что я, оказывается, буржуа»). Но главное, что вскоре после Революции власть стала проявлять черты самодержавия в отношениях с научно-технической и гуманитарной интеллигенцией. Власть поддерживала Пролеткульт, который настаивал на том, что наука должна быть классовой (пролетарской) [Берлявский 2012: 383]. Рабочим в этом случае отводилась роль новой элиты. Для них открыли в 1918 г. Московский пролетарский университет, просуществовавший очень короткий промежуток времени. Лозунгом этого учреждения было не признавать «нормальные науки» и отрицать опыт, основанный на науке «прошлого».

Не случайно поэтому из бывшего царского Министерства торговли и промышленности выкинули огромную картотеку (1 миллион карточек) по хозяйственным связям европейской части России («Нам буржуазная статистика не нужна», — заявил помощник Г. Зиновьева, одного из большевистских лидеров того времени).

Ленин считал, что только социализм освобождает науку от буржуазных пут, если она выступает вместе с рабочими. Он говорил многократно о саботаже ученых, но это не убеждало, и даже учительство выступало в своей массе против советской власти. Правда, с Лениным спорили, требуя равноправия в новой стране. Переубедить вождя пролетарской революции было трудно, саботажникам он постоянно и упрямо предлагал одно — контроль и узду вместо свободы. Понятно, что ученых в госаппарате было крайне мало: Г. Чичерин (историк дипломатии), М. Рейснер (юрист), отдельные специалисты из области медицины и права...

Постоянные призывы к новому пролетарскому классу — прийти на места, которые занимали ученые, высказывались вплоть до окончания Гражданской войны. Победа в ней несколько смягчила нрав власти. Ленин стал говорить о поисках путей сотрудничества на условиях идейного компромисса. Буржуазное прошлое прощалось, если ученый признавал правоту нового строя. Впрочем, что говорить о Ленине. Даже ранний Н. Бухарин писал в «Экономике переходного периода» (май 1920 г.), что девять групп основных антагонистов пролетариату (крупнейшие инженеры, связанные с капиталистическим миром, изобретатели, техническая интеллигенция и интеллигенция вообще, а именно инженеры, техники, агрономы, зоотехники, врачи, адвокаты, журналисты, учительство в своем большинстве и так далее) противостоят Революции и не могут быть использованы без внешнего государственного принуждения [Берлявский 2012: 390].

На следующем витке началось декретирование высшей школы, от чего она отвыкла после Февральской революции. Свобода прививается быстро, прививка позволяет забывать время несвободы (в данном случае — трудные отношения с самодержавной властью, которая после убийства Александра Второго постоянно рассматривала университет как фрондирующую среду, из которой выходили не только критически мыслящие личности, но и террористы). Однако полностью доверять Наркомпросу высшее образование власть не пожелала. Здесь постепенно усложнялись система и инфраструктура управления. Отделы ЦК РКП, Государственный ученый совет, научно-технический отдел ВСНХ, ГОЭЛРО, ЦСУ, Наркоматы, органы ВЧК и другие общероссийские ведомства — все они получили право вмешиваться в образовательную политику страны.

Основа образовательной политики состояла в депривации университетских сообществ и переподчинении их центральному государственному ведомству — Народному комиссариату просвещения. Большевики вернули дореволюционное отношение к университету как источнику крамолы. Этого не было у Временного правительства, которое вычеркнуло из уставов российских университетов такие недемократические правила и механизмы подчинения университетов самодержавной власти, как опека попечителей (в сущности, наместников на территории образовательного округа или губернии), полномочия министерства утверждать (отклонять) профессиу и другие решения профессорских советов, запрет на введение должностей приват-доцентов (ученое звание нештатного преподавателя), наконец запрещение студентам объединяться в различные товарищества, группы и союзы. Но вольностям, дарованным Временным правительством, пришел конец в 1921 г. Наркомпрос упразднил профессорский совет как орган самоуправления университетом и возложил управленческие функции сначала на комитеты (советы), где представители данного университета не имели решающего большинства, а затем на «тройки», в составе ректор и два советника, один из которых был студентом. Университеты отказались признать эту форму правления легитимной. Однако их протест не был принят во внимание, Наркомпрос расценил его как контрреволюционную деятельность. Борьба сообщества за автономию университета (она была бы абсолютно легальной после Февральской революции) получила политическую квалификацию.

В свои права вступила ВЧК. Этой организации не потребовалось много времени, чтобы объяснить вред борьбы за автономию университетских сообществ на своем языке. 8 августа 1922 г. Политбюро ЦК РКП утвердило план действий Правительства (Наркомпроса — в нашем случае) и признало необходимым: осуществить фильтрацию студентов, радикально изменить (уменьшить) долю непролетарской молодежи среди студенчества, ввести в действие «сертификаты» политической благонадежности, установить правила и регламенты для проведения собраний студентов и преподавателей, провести проверку всех печатных органов, запретить проведение съездов кого бы то ни было без ведома и разрешения «правоохранительных органов», поручить губернским органам и местным органам советской власти и РКП те же разрешительные и контрольные действия на подведомственных им территориях; запретить регистрацию функциональных союзов. Ранее (в июне 1921 г.), по всей видимости, в связи с подготовкой вышеупомянутого решения Политбюро было принято «внутреннее решение» (с согласия всех ведомств, заинтересованных в

установлении революционного порядка в стране) о замене ограничения свободы (тюремное заключение, ссылки и т. п. виды уголовного наказания) на высылку за рубежи советского государства. В подобных случаях слово часто не расходилось с делом. Заместитель председателя ВЧК Уншлихт быстро подготовил списки кандидатов на применение этой меры. В ночь с 16 на 17 августа теперь уже 1922 г. все кандидаты на экстратицию (свыше 160 человек) были арестованы, доставлены в Петроградскую и Московскую ВЧК, им было предложено в течение месяца покинуть страну. Операция по высылке антисоветской интеллигенции имела место в августе 1922 г. Пассажирами ленинского парохода и жертвами режима стали виднейшие представители отечественной науки, образования, культуры П. Сорокин, Н. Бердяев, Ф. Степун, Н. Тимашев и другие. Вечная им память, они были невинными жертвами Октябрьского революционного переворота и прихода большевиков к власти. Высшая школа новой России была этим обезглавлена.

Особо следует сказать о пролетаризации высшей школы. Существовала дилемма: если отдать молодого пролетария в руки буржуазной высшей школы, то он потеряет классовый инстинкт; если оставить все по-прежнему, закрыть глаза на буржуазность высшей школы, пролетарий останется необразованным. Отсюда и нужда в пролетаризации высшего образования. Ее центральной темой станет «рабочая биография» как главное преимущество «красного студента». Особым декретом от 2 августа 1918 г. прием в существовавшие тогда высшие учебные заведения был открыт для всех (аттестаты и дипломы отменялись, их объявили утратившими свою нормативную силу). Всякий теперь мог поступить в вуз без диплома и экзаменов. Однако пролетарии не хлынули, не захотели рисковать, не будучи подготовленными для занятий. Тогда же стали притеснять старую преподавательскую среду, выдавливать опытных преподавателей в расчете заменить их молодыми сторонниками советской власти. Но уже первый конкурс стал поражением реформаторов. Все вакансии были замещены старыми кадрами. Стало ясно: нужны специальные усилия. Они не замедлили последовать. Было решено утверждать профессоров постановлением Главного ученого совета Наркомпроса [Козлова 1997: 212].

На новом витке забот о пролетарских (красных) студентах (спустя два года, в 1920 г.) решили создавать рабочие факультеты (с перспективой перевода на стационар учебного заведения)¹. Чтобы облегчить зачисление в

¹ По образному выражению Наркома просвещения А. В. Луначарского, рабфаки были своего рода «пожарными лестницами», приставленными к окнам высших

студенты выходцам из пролетарской среды, придумали систему командирования по линии партийных, комсомольских, профсоюзных организаций, по линии РККА, для которой краеугольным камнем стало пролетарское происхождение. Квоты командированных были достаточно большими.

Нашились деятели (Н. Крупская, в частности), которые возражали против привилегий для класса, вышедшего на общественную арену. Систему критиковал и Луначарский. К 1925 г. порядок обновили, появилась квота для талантливых и, строго говоря, наиболее достойных для занятий в вузе, чем представители рабочих и крестьянской бедноты. Однако эта квота вводилась с оглядкой. Особое решение, например, было принято в отношении детей государственных служащих — они приравнялись при поступлении в высшую школу к детям рабочих [Андреев 2012: 502].

Сомнения в легитимности привилегий для пролетариев росли. Одновременно нарастал дефицит молодых специалистов (рабочая квота не всегда выбиралась, достаточно велик был процент неуспевающих студентов, которых приходилось отчислять). В итоге появились первокурсники с «неустановленным происхождением», а в пределах квот принятых рабочих обозначились молодые люди, занимающиеся не только физическим, но и умственным трудом. Идея пролетарского студента размывалась.

Тем временем начал постепенно набирать силу академический ценз (требование высокого уровня фактических знаний). Слабая академическая подготовка — бич рабфаков первых лет пролетаризации. Приказ по ведомству (1924 г.) гласит, что всех неподготовленных (из числа имеющих документы о командировании) надлежит отправлять обратно. Примерно тогда же (конец второй половины 1920-х гг.) путевок стали выделять больше, чем мест в вузах. Таким образом, легализуется идея конкурса, отложенная в период первых кампаний за пролетаризацию студенчества. Но это, так сказать, признаки кризиса идеи изнутри системы.

Сама же идея официально и долго поддерживалась, власть и пропаганда вводили нормативные образцы поведения студента вуза. Эталонными качествами красного студента являлись его пролетарская сознательность, посвящение себя обществу, убеждение в правильности выбранной профессии. Особая роль принадлежала партийным ячейкам среди студенчества, выступавшим за железную дисциплину, воспитывавшим ненависть к старому режиму. В 1925 г. было учреждено 25 000 государственных стипендий. Получать стипендию значило получать поддержку

учебных заведений, чтобы по ним могли подниматься выходцы из рабочей и крестьянской среды.

государства. Это было признаком советскости, если угодно. Кроме того, стипендиаты получали средства на отпуск, на приобретение лекарств. Отказ в стипендии носил классовый характер (в стипендии могли отказать абитуриенту/студенту непролетарского происхождения или всякому, кто пытался скрыть этот «компромат» тем или иным способом). Неудивительно, что рабфак обладал живучестью и долгое время продолжал быть оплотом пролетаризации.

Есть одно парадоксальное явление — чистки вузовской среды (студенчества), которые проводились в 1922, 1924, 1925 и 1929 гг. Я бы рискнул назвать их «санацией состава студентов». Вследствие чисток контингент подвергался постоянному сжатию и расширению. Чистки были «щадящими» (если иметь в виду их масштабы). Причинами чисток являлись придирки из-за рабочего стажа, факты обнаружения непролетарского происхождения, поддержка партийных лидеров оппозиции — Троцкого и его единомышленников. Поводом для отчисления могла быть мещанская (индивидуалистическая) психология, против которой выступали партийные ячейки, выполнявшие роль моральной инстанции. Еще одна причина — дефицит государственных бюджетных средств на высшее образование. Итог чисток предсказуем: торжествовал классовый принцип. Но одновременно росло число случаев, когда в вузе могли оставить «вычищенного» студента по ходатайству студенческих организаций. Может быть, вспоминая матроса Железняка, вузовские караулы устали заниматься постоянными преследованиями и проверками происхождения. Естественные правила жизни в сознании людей брали верх. Поэтому и принимали в вуз «иных чуждых».

Выводы к § 1. Общий итог понятен: на протяжении едва ли не двух десятилетий советской власти в ее руководящей деятельности классово-идеологический критерий преобладал над рационально-хозяйственными и научными резонами, над здравым смыслом. В сфере образования первоочередно поддерживался все-таки «красный студент», ибо государство постоянно искало способы развивать революционное начало и обеспечивать его преемственность, трансляцию в будущее. Никто не знает истинной цены просчетов образовательной политики партии, важнейшим из которых был невысокий уровень знаний «подученных» выпускников рабфаков и комвузов. Пролетарские студенты были недоучками, заметно уступая в этом отношении студенческой массе, лишенной классовых привилегий. Еще одна особенность красных студентов заключается в том, что для них марксизм-ленинизм был догмой, а лучше сказать, мертвой буквой, но как раз такие являются наиболее нестигаемыми и деспотичными

[Каграманов 1998: 122]. Не случайно синдром названных свойств будет отличать партийных функционеров «новой волны» — пополнение, пришедшее на смену большевикам из ленинского окружения и влившееся в воинствующую среду пролетарски настроенных коммунистов, сражавшихся за победу социализма в одной отдельной стране.

Перескажу себя: Шахтинское дело (лето 1928 г.) стало поводом для того, чтобы поставить под сомнение лояльность старой интеллигенции, а в более широком — политическом и идеологическом — плане обозначить «смертельную» угрозу правой опасности. Действия происходят в двух направлениях. Университеты захлестывают волны партийных и пролетарских атак, комсомольские активисты преследуют учителей, повышают голос до крика воинствующие безбожники, партийным языком вещает РАПП, А. Луначарского убирают с поста наркома просвещения, а Бухарина и Рыкова объявляют правыми уклонистами. Однако целями схватки пролетарски настроенных коммунистов с буржуазной интеллигенцией станет вовсе не отстранение от власти культурных авторитетов прошлого. Далек идущие цели новой революции против собственного государства будут состоять в том, чтобы создать новую советскую интеллигенцию, используя приемы классово-борьбы. Венцом этого социалистического наступления становится политика продвижения представителей пролетариата и создание «сверху» искусственными, часто насильственными, методами лояльной социальной структуры. В итоге устанавливался тотальный политический контроль. Номенклатура закреплялась во власти, увеличивая свои привилегии. Новую политическую роль получали выдвиженцы прежде всего из числа рабочих и коммунистов-пролетариев, прошедших скороспелое обучение на рабфаках. Им предстояло стать отрядами нарождающейся советской интеллигенции с перспективой работы в высших звеньях партийного и государственного аппарата [Фирсов 2006: 42].

Сказанным, как мне кажется, определяется социальное пространство, в котором будет перемещаться «вверх» поколение Брежнева, которое открыл для себя дотошный американский политолог/социолог Хаф. Кстати, я вспомнил, что мы были знакомы. Во время своей первой поездки в США, в конце 1970-х, я был приписан к Колумбийскому университету. После лекции, которую как стажер из СССР я прочел в качестве визитной карточки, меня подвели к американцу, преподавателю того же университета. Он дружески улыбнулся и произнес: «Доктор Джерри Хаф». Я ответил: «Борис Фирсов, кандидат наук». Не успел я закончить свое короткое представление и перевести дыхание, как Хаф разразился длинной тирадой. «Так, Фирсов? А не являетесь ли Вы тем самым Борисом Макси-

мовичем Фирсовым, первым секретарем Дзержинского райкома КПСС города Ленинграда, который в самом начале шестидесятых (тут он назвал безошибочно год, месяц и число события. — *Б. Ф.*) опубликовал в газете “Правда”, органе ЦК КПСС, статью-подвал на второй полосе под названием “Повышать роль школьных партийных организаций”?» Говорил Хаф запальчиво, не сбиваясь, думал над каждым словом, как делают люди, заглядывающие в собственную долговременную память, и смотрел мне прямо в глаза, желая получить зрительное впечатление от своих слов. И тогда (и сейчас) для меня не было сомнения в том, что вопрос был домашней заготовкой. Но мне почему-то не захотелось ответить: «Да, я тот самый Фирсов!» Взамен я произнес: «Сожалею, но я однофамилец, не более того». Мы не разошлись. Беседа была продолжена, и я спросил своего собеседника, чем можно объяснить его любопытство в отношении меня. Хаф сказал, что темой его советологических штудий являются советские выдвиженцы и механизмы, лифты, с помощью которых рядовые, внешне ничем не примечательные люди, партийцы с пролетарским происхождением перемещались на верхние этажи социальной иерархии и занимали видные руководящие посты. Иными словами, чтобы быть конкретным, он хотел узнать, не был ли Максим Фирсов выдвиженцем, а я — его сыном, который унаследовал привилегированное положение своего отца в обществе, став партийным функционером довольно высокого ранга.

Не сомневаюсь, что Хаф (не зря я назвал его дотошным) имел хорошую информационную базу для своих построений и многие его результаты валидны, им можно доверять. К поколению Брежнева, писал Хаф в своей книге, могут быть с полным правом отнесены 350 советских ученых, родившихся в первом десятилетии XX в., получивших высшее образование, ставших специалистами своего дела и избранных действительными членами или членами-корреспондентами АН СССР в знак признания их научных заслуг и достижений. Хаф «вычислил» этих людей путем постатейного чтения 50 томов Большой советской энциклопедии (БСЭ, послевоенное издание). Ведь она содержала краткие биографические сведения об академической элите нашей страны.

§ 2. «Втузирование» и «отраслирование» университетов

Но на этом перетряхивание системы высшего образования не закончилось. Вторым (после пролетаризации) актом социальной драмы общегосударственного высшего образования стала ломка университетов, которые

дотоле совершали мирную эволюцию в сторону применения мировых моделей образования. Произошло это в период Великого перелома. Плана «ломки» не было, но тем не менее Сталин предпочел заняться поиском кадров, способных обеспечить индустриализацию страны. ВСНХ выступил против Наркомпроса: поскольку индустриализация будет проводиться путем развития отраслей народного хозяйства, то университеты могут и должны стать ресурсом для поиска нужных специалистов, для чего их надо изъять из стен высшей школы и переместить в отраслевые промышленные производственные структуры, локомотивы индустриализации. Тем самым вузовская система и ее наука, если она и была, утрачивала свое значение. Вторая тенденция — вузы должны были продолжить пролетаризацию с целью уже в самом ближайшем будущем исключить влияние и зависимость от беспартийной массы. Третья черта — рост гегемонии партии. Она усиливала свою роль как движущий механизм развития общества [Дэвид-Фокс 2012: 526].

Истребление университетов (остававшихся гнездами старой элиты) в этих условиях стало неизбежным. Равновесие старой профессуры и новых коммунистических управленцев было довольно хрупким (хотя оно являлось основой существования университетов до Великого перелома). Но тут взвилось знамя отраслевой (практической) специализации, именно она должна была стать задачей высшей школы, хотя Наркомпрос цеплялся по-прежнему за широкое образование.

Потребовалась идеологическая атака. Так называемое Шахтинское дело было задумано и инспирировано с целью доказать появление вредителей (как правило, из среды старых специалистов, отмеченных буржуазным происхождением). Шахтинское дело возникло и широко обсуждалось с целью привлечь внимание всего народа к тому, что враги социализма не сдаются! Оно послужило сигналом для начала конвертации университетов во ВТУЗы. Луначарский обратился с письмом к Сталину, выражая несогласие с трясением высшей школы. 18 июля 1929 г. он уступил свое кресло А. Бубнову — начальнику Политуправления Красной Армии.

Вдобавок пролетарские студенты выступили за большевизацию Академии наук, за соединение обучения с практикой, высокие квоты приема в вузы рабочих и партийцев, за новую педагогику (отмена лекций и коллективная работа над темами). Наркомпрос заметался и потерял устойчивость [Дэвид-Фокс 2012: 534, 536]. Еще одно событие, характерное для того периода, — выступление в печати студента Маркова (зачем нужны университеты — средневековые крепости, их надо передавать в ведом-

ственное подчинение, — к примеру, закрыть все медицинские вузы и подчинить их Наркомздраву). Так началась компания по переводу вузов на отраслевое положение (1929 г.). Компания не пощадила даже Московский университет. И. Удальцов, тогдашний ректор МГУ, сказал, что «старик МГУ скончался». 1930 г. стал годом перелома для высшей школы. Началась карьерная и ведомственная борьба за перевод всего среднего специального и высшего образования в ведение отраслевых Народных комиссариатов [Дэвид-Фокс 2012: 539]. Игра была без правил. Исследователи отмечают, что в некоторых вузах осталось по два-три факультета. Часть вузовских подразделений ушла даже в Академию наук. Но главное в том, что Наркомпрос этому варварству (произволу) не сопротивлялся. Не смел сопротивляться!

Это время будет отмечено появлением двух терминов — втузирование (воспроизводство форм работы ВТУЗа) и отраслирование (передача вуза в отраслевой Наркомат). Число лекций падало, число практических занятий росло, соотношение между ними стало примерно 1:1, но все губила узкая специализация профиля вуза и начатое обучение без отрыва от производства [Дэвид-Фокс 2012: 545]. Так длилось до конца 1930 г., пока Л. Каганович, секретарь МК и МК ВКПб (а он был в силе), не произнес вдруг: «Без теории нельзя». И машина медленно, но поехала назад.

В России университет всегда был детищем абсолютистской власти. Коммунисты воспроизвели всё, что эта власть предложила в 1884 г. (попечительские округа, утверждение решений, принятых «внизу», запреты на объединение студентов). «Хозяйственники» и «практики» в 1930 г. считали университеты дополнительными центрами (подножным кормом) для ВТУЗов, расплотившихся к тому времени повсюду. Этими «наездами» сбили даже МГУ, хотя ЛГУ выстоял, твердо заявив, что университет обязан и будет готовить научных сотрудников, против чего возражал А. Вышинский, руководитель Главпрофобра того времени, который мнил, что дальше подготовки младшего обслуживающего научного персонала университет идти не может. Вышинского трусливо поддерживал бубновский Комиссариат народного просвещения, утверждая, что университет может готовить кадры для высшей школы, но только низшего звена и разряда — лаборантов, ассистентов и младших научных сотрудников [Дэвид-Фокс 2012: 549]. За это ухватился ЛГУ, считая, что он «обойдется» без философии, педагогики и фундаментальных наук, но все-таки будет готовить научных сотрудников. Странная дань императивам времени, когда сдают позиции, не располагая директивными документами, а так по своей воле!

Наступил год 1931-й, нажим на университеты уменьшился, поскольку они включились в решение задач первых пятилеток, пытаясь избавиться от навязанного им образа «отринутого прошлого» [Дэвид-Фокс 2012: 551]. Возврат университетов к былой роли, как это ни парадоксально, стал возможен вследствие удаления из университетских стен социальных и гуманитарных наук. Последние находились под государственным подозрением, поскольку считались «неспособными» сделать университет безопасным в идеологическом отношении [Дэвид-Фокс 2012: 552].

Затем произошли важные события — социализм победил в одной отдельно взятой стране. В условиях победившего социализма нельзя было считать интеллигенцию не занявшей сторону рабочего класса и тем более не способной вместе с рабочими строить социализм, как говорил Сталин в 1931 г. Взгляды вождя не могло не разделять в этих новых условиях советское чиновничество. Наркомпросу вновь разрешили смотреть на университет как на вершинное творение ума и опыта, способное привести к успехам в области высшего образования [Дэвид-Фокс 2012: 553]. Забытый в предшествующие годы лозунг качества образования (теперь его следовало взять обратно со склада ненужных идей) остановил пролетаризацию студентов. Новый лозунг (обеспечить высокий стандарт обучения) позволял ставить неуды и лишать стипендии всякого неуспевающего студента, не делая исключений для выходцев из пролетарской среды. Был отменен бригадный метод усвоения знаний и остановлено губительное сползание к узкой специализации обучения. Одна из проверок ошеломила комиссию — студенты, обучавшиеся математическим дисциплинам, не умели решать уравнение с дробями. Ранее это оставалось бы для проверяющих незамеченным. Возродился процесс открытия новых университетов.

Еще одно решение тех лет — перестроить МГУ, который теперь считался фасадом науки и образования социалистической страны. Новый курс (хотя его никто так не называл) возвращал университетам былые привилегии (разумеется, речь шла о привилегиях, которые разрешали советское государство и партия), включая имманентное право заниматься развитием фундаментальных наук. Впрочем, теперь и выпускники назывались «высококвалифицированными специалистами». Все это не мешало клеймить по-старому чистую науку и, конечно же, поддерживать лозунг партийности всякой науки [Дэвид-Фокс 2012: 555]. Но вплоть до 1939 г. в университетах не преподавались общественные и гуманитарные науки, для них (за исключением марксизма-ленинизма) не было ни места в учебных программах, ни кафедр, ни факультетов. Однако в 1934 г. «из ссылки» в стены университетов возвратилась история. Это было призна-

ком восстановления разрушенного гуманитарного потенциала высшей школы.

Выводы к § 2. Подводя черту под политикой насильственной пролетаризации высшей школы, я позволил себе нелестно отозваться о красных студентах, назвав их недоучками и воинствующими догматиками. Оглядываясь назад и возвращаясь к рассказу о кампании по «истреблению университетов», проведенной по инициативе ВКП(б), я могу сказать, что иными по набору привитых им качеств, которые никак не отнесешь к высоким достоинствам, красные студенты стать не могли. Имело место преднамеренное снижение стандартов образования до уровня суррогатного, которое взамен современного предлагала «оскопленная» большевиками высшая школа. Над ней неизменно «висел» ленинский лозунг: «Коммунистом можно стать только тогда, когда овладеешь знанием всех богатств, которые выработало человечество». Но «богатство» непрерывно сокращалось под влиянием борьбы с буржуазным наследием и устремлений власти к социальной и культурной однородности общества.

Поиски путей создания новой рабоче-крестьянской интеллигенции происходили синхронно с ревизией и заменой учебных планов и программ обучения прежде всего по общественным наукам. Уже в 1919 г. по всей стране развернулась кампания, в ходе которой директивным путем во всех университетах и институтах все факультеты и кафедры по социальным дисциплинам заменялись так называемыми ФОНами (факультетами общественных наук), имевшими вполне определенную идеологическую направленность. Первоначально они включали в себя экономическое, историческое и правовое отделения. Однако в марте 1921 г. был принят декрет «О плане реорганизации ФОНов российских университетов». Согласно декрету, мирно существовавшие до этого исторические и филологические факультеты преобразовывались в общественно-педагогические. Их главной задачей стала подготовка преподавателей общественных дисциплин (в первую очередь для школы). На ФОНах разрешалось преподавать новый ассортимент обязательных дисциплин: исторический материализм, развитие общественных форм, история пролетарской революции, политический строй РСФСР (некий расширенный вариант школьного обществоведения). В число обязательных попал такой описательный предмет, как план электрификации страны ГОЭЛРО. Преподавание вечных истин заменялось на обучение полезным (прагматическим) предметам с коротким периодом существования в стенах высшей школы. В связи с недостатком кадров их перестали преподавать уже в 1924/1925 учебном году. Через два года они исчезли навсегда...

Пытаясь непредвзято оценить условия приобретения профессионального образования, я должен с большим сожалением сказать о том, что оно было оторвано от культуры. Парадоксально, но советский режим, не меняя структуру университета как социального института, заимствованную из Германии в XVIII в. и ориентированную на подготовку *Homo universalis*, полностью подчинил университет, тем более отраслевые институты высшей школы, утилитарным требованиям плановой экономики и строительства социализма. Сугубый прагматизм подготовки пролетарских студентов не требовал того, чтобы она дополнялась насыщенной гуманитарной составляющей. Тем самым традиционная идея высшей школы, в основе которой лежит формирование личности, мировоззрения, подвергалась остракизму. Переведу это в более конкретный план со ссылкой на международный опыт. Например, в США даже такие предметно-ориентированные институты, как Калифорнийский и Массачусетский технологические институты, издавна взяли за правило включать в свои программы ряд общеобразовательных и гуманитарных курсов [Грэхэм 2000: 113]. Но этот опыт пришел в нашу страну с полувековым опозданием. Курсы гуманитарных и социальных наук, как их понимают на Западе, не играли сколько-нибудь важной роли в образовательной системе сталинского и послесталинского периодов. Интеллектуальный потенциал высшей школы тратился на ожесточенную борьбу с наследством старого буржуазного и монархического мира. Поэтому большевистские технологии, образцы, модели переделки этого мира (пролетаризация, отраслевание, втузирование и другие начинания, о которых шла речь выше) по-прежнему прошивали все образовательные структуры. Перетряхивание рядов, сокращение кадров, спонтанные новшества, продиктованные классовой борьбой, продолжались, становясь преддверием Большой чистки 1937–1938 гг.

§ 3. Ступени советского партийного образования

Радикальные преобразования большевиков затронули всю систему образования. Строить новое общество и создавать нового человека — этому вряд ли кто учил и, более определенно, вряд ли мог научить. Потому появление новых институций массового обучения вполне закономерно. Сеть таких институций должна была быть мобильной, гибкой, в перспективе способной стать особой (внутренней) системой подготовки кадров для строительства нового типа общественного устройства. Назо-

вем ее системой советского партийного образования. Появилась она довольно быстро (1918 г.) и уже к началу 1920-х включила в себя учебные заведения самых разных типов и уровней: советско-партийные школы, коммунистические университеты, Социалистическую (Коммунистическую с 1924 г.) академию.

У партии был опыт подготовки кадров. Школы в Лонжюмо (Франция) и на острове Капри (Италия) выполняли важные задачи — они занимались пропагандой марксизма и готовили кадры для революционной работы в России после возвращения из эмиграции. Им предшествовала устная пропаганда марксизма в кружках с соблюдением неизбежных для такого занятия конспирации и нелегальности. Конечно же, с приходом РСДРП(б) к власти все изменилось, а значит, изменились функции и формы партийного образования.

Первой, низовой, ступенью стали кратковременные курсы большевистских агитаторов. Небольшая по количеству активных членов партия нуждалась в активистах для борьбы за власть и реализацию ее политики на местах. Опыт столицы (Петрограда) был замечен. Поэтому появился на свет циркуляр ЦК РКП(б) и Наркомпроса от 7 августа 1920 г., где был обозначен курс на создание сети совпартшкол для обучения и подготовки кадров советских и партийных руководителей на местах, подчеркну, из числа рабочих и крестьян. Школы оказались в системе двойного «ведомственного» контроля со стороны подотделов пропаганды губкомов партии и отделов народного образования. Первые отвечали за содержание обучения, вторые — за финансирование школ [Свешников 2012: 594].

X съезд РКП(б) (1921 г.) подчеркнул первостепенную важность этой работы. Было принято решение открыть такие школы во всех губерниях, как минимум в половине уездов, и приступить к образованию областных совпартшкол и партийных университетов. Сеть развернулась быстро: в том же 1921 г. в 45 губернских школах и 39 уездных обучалось 14 000 слушателей [Свешников 2012: 595]. Вскоре состоялась Всероссийская конференция работников совпартшкол. Конституировали три их типа. 1-й тип — школа первой ступени (три-четыре месяца обучения). Элементарные политические знания и возвращение на старое место работы. 2-й тип — школа второй ступени с годичным обучением и сочетанием теоретических занятий с учебой на специальных отделениях. 3-й тип — школа третьей ступени — это уже коммунистический университет с трехлетним обучением (два года учебы, один год специализации). ЦК РКП(б) и Главполитпросвет разработали для этих типов программы (планы) обучения. Их не назовешь максималистскими, но все равно учеба требовала привычки и

интереса к новым знаниям. Однако уровень подготовки обучающихся был низким, недаром все время проводилась коррекция программ в сторону увеличения общеобразовательных предметов (русский язык, арифметика, естествознание). Впрочем, и выпускник школы первой ступени, в сущности, получал низшее образование [Свешников 2012: 595].

Важная сторона дела — принципы набора в совпартшколы. Это — классовый подход, партийность, добровольность, элементарная грамотность, вступительные экзамены и стаж партийной или советской работы. Общая подготовка была проблемой, по этой причине принимали и беспартийных, и выходцев из интеллигенции. Прием осуществлялся на основе разверсток. Отсюда еще одна проблема — постоянные недоборы желающих заниматься. И, вообще говоря, по мере движения от центра в сторону глубинки число занимающихся падало. Существовала и третья проблема — дефицит кадров преподавателей. Призыв и требование заменить их партработниками оказались невыполненными. Не так просто решался вопрос со средствами на содержание сети совпартшкол, но в итоге государство взяло на себя зарплату преподавателям, стипендии слушателям, им же вещевое довольствие и питание, учебные расходы. На местные власти легли хозяйственные расходы.

Школы в стационарном режиме готовили пропагандистов и политработников уровня, соответствующего рангу школы. После учебы их направляли в распоряжение губкомов партии и комсомола. Спектр назначений рос — избачи, работа в деревне, среди женщин, пионеров, партийные, комсомольские, профсоюзные органы на местах, однако все равно проблемы остались. Полученное образование было трудно считать путевкой в жизнь, но оно было способом поддержания жизненного уровня в момент окончания совпартшколы, при этом было явно недостаточным для выбора пожизненной профессии [Свешников 2012: 598].

Второй ступенью являлись коммунистические университеты. Первый из них был открыт в Москве в 1919 г. и носил имя Я. Свердлова (первого председателя ВЦИКа). Университет считался модельным для Петрограда и других крупных центров. Основной курс обучения имел длительность три года, ускоренный курс — полтора-два года, лекторский курс — один-два года с общественно-политическими, естественно-научными циклами, с курсами русского и иностранных языков. К 1931 г. в стране было 45 центральных республиканских и краевых (областных) университетов [Свешников 2012: 598–599].

Уровень преподавания был высоким. С лекциями выступали вожди. Штатными преподавателями были наиболее видные ученые марксист-

ской ориентации. Коммунистический университет им. Свердлова за 10 лет окончили 10 000 человек, а обучалось 19 000. Университет имел инфраструктуру для дневных и вечерних занятий. При этом само поступление в университет и выбор специальности могли быть чисто случайными. В 1930-е гг. университет преобразовали сначала в Высший коммунистический сельскохозяйственный университет, а затем в Высшую школу пропагандистов при ЦК ВКП(б). Петроградский комуниверситет был похож на Московский, носивший имя Свердлова. Но в любом случае их выпускники разъезжались по всей стране. Говоря о значении этих учебных заведений, можно добавить, что они были основными кузницами партийного и советского аппарата [Свешников 2012: 600].

Помимо этих кадров была потребность в преподавателях для совпаршкол и коммунистических университетов с дальним прицелом и расчетом на их участие в преподавании общественных дисциплин в вузах страны. Дефицит преподавателей был настолько велик, что к делу их подготовки привлекли политотделы Красной Армии, поручив им подобрать не менее 150 молодых партийцев, кандидатов для создания красной профессуры. Подготовить предложения по упразднению «былой свободы» общественных наук и сформировать требования к их преподаванию в новых политических условиях, разработать списки лиц, рекомендованных для преподавания социальных дисциплин, предложить новые планы и программы обучения — все это было возложено на комиссию Ф. Ротштейна [Свешников 2012: 601]. Ее решение опиралось на тогдашние реалии: пока действует старый профессорско-преподавательский состав, ничего у нас не получится! Привлекать для этого дела буржуазных специалистов нельзя, несмотря на сочувствие Ленина такого рода идее. Допускать к преподаванию можно лишь тех спецов, которые открыто переходили на сторону советской власти. Предложения комиссии были простыми: привлечь партийные силы и начать готовить молодежь.

С 31 декабря 1920 г. по 4 января 1921 г. в Москве проходило всероссийское совещание. Партия обсуждала политическое завоевание высшей школы. Решили придать вузам революционно-марксистскую направленность, заняться политвоспитанием молодежи, ректорами красных вузов назначать только партийцев, мобилизовать силы партии для преподавания общественных наук, откомандировать в высшую школу партийную молодежь [Козлова 1997: 212]. Вопрос о кадрах для образцового преподавания общественных наук был поддержан в специальной резолюции (нужны свои люди, ибо человек буржуазного происхождения и мировоззрения не может преподавать общественные дисциплины в советской высшей шко-

ле). Была объявлена очередная мобилизация в обществоведы. Решили изъять из рук буржуазной профессуры общественные дисциплины, формирующие сознание студентов, открыть ускоренные курсы красной профессуры, мобилизовать всех теоретических работников партии для преподавания общественных наук [Козлова 1997: 212]. Опять аврал! К рекомендациям комиссии Ротштейна добавили ленинские предложения о привлечении буржуазных спецов, но под контролем партии, которая в лице основных исполнителей идеи (партийных организаций на местах) не обладала достаточной компетенцией для цензуры деятельности буржуазных спецов [Козлова 1997: 213]. Привлечение партработников потерпело крах. Буржуазным спецам тоже было нелегко (они не могли говорить на новом языке, но в своей массе не хотели). Осталась единственная возможность — формировать рабоче-крестьянскую интеллигенцию [Козлова 1997: 214].

Предложенный путь был тернистым и долгим, но встать на него значило получить шансы на успех. В дело вступил Совнарком, который 11 февраля 1921 г. принял три декрета: об учреждении институтов по подготовке красной профессуры; о плане организации ФОНов взамен юридических и историко-филологических факультетов; об установлении общего научного минимума, обязательного для преподавания во всех высших учебных заведениях.

Так был создан Институт красной профессуры (ИКП) для немедленного насыщения народно-хозяйственного рынка научными, партийными и педагогическими кадрами. Декрет о его создании (учредить в Москве и Петрограде Институты по подготовке красной профессуры для преподавания в высших школах Республики следующих знаний: теоретической экономии, исторического материализма, развития общественных форм, новейшей истории и советского строительства) Ленин подписал 11 февраля 1921 г. [Козлова 1997: 215]. Открыли ИКП 3 октября 1921 г. в Москве (там, где сейчас кинотеатр «Россия», а тогда находилось здание женского монастыря). Постепенно он вышел за рамки первоначальных начертаний Ленина и стал высшим учебным заведением, готовившим идеологов для работы во всех областях общественной жизни. При этом подготовка преподавателей оставалась всегда его обязанностью.

Студенты ИКП считались мобилизованными в порядке трудовой дисциплины. По снабжению и обеспечению их приравнивали к курсантам военных училищ. Первый ИКП имел историческое, экономическое и философское отделения, чуть позже открыли подготовительное, опять-таки ввиду низкого уровня знаний абитуриентов (!), а впоследствии — истори-

ко-партийное, правовое, литературное и естественно-научное. Подготовительные отделения существовали вплоть до 1930-х гг. Учили три года. Участвовали лучшие по тем временам кадры партийной и научной элиты марксистского толка. За 1924–1929 гг. ИКП окончили 236 человек. Жесткую партийно-идеологическую направленность системы совпартшкол не опровергнуть. Методы преподавания были беспрецедентными, как и само советское строительство. Здание общественных наук возводилось на трудах классиков марксизма-ленинизма, отношение к которому требовало не столько знаний, сколько веры. В 1927 г. ИКП передали из Наркомпроса в ведение ЦИК СССР, а затем закрыли в 1938 г.

В первом наборе были красноармейцы. Два-три года допускался прием интеллигенции, но потом началась целенаправленная работа по формированию контингента слушателей из рабочих и крестьян, членов партии. Нарастивать их долю было трудно из-за низкого образовательного уровня. Количество заявлений внешне было впечатляющим, командирующие организации старались перевыполнить разрядку. Но вот отрезвляющая статистика: число слушателей, принятых с 1921 по 1930 г., составило более 3500 человек, но полностью завершили обучение 335 человек! Не были коммунистами лишь 2% выпускников. Сначала доля рабочих падала, но потом выравнилась. Однако большинством в составе выпускных когорт они никогда не были! Преобладали служащие (90% в 1921 г., 55% в 1928 г.). В итоге численность выпускников была всегда ниже плановой, а социальный состав далек от требуемого. Успеваемость рабочих являлась самой низкой, она же была главной причиной отчисления, но этот факт, увы, скрывали, отчисляя рабочих «в связи с переходом на партийную работу» [Козлова 1997: 218]. Меры по «орабочиванию» оказывались неэффективными. Но все же вера в пролетариат оставалась нерушимой, и потому бюрократическая машина воспроизводила нереальные требования. Форсированная пролетаризация не достигла своих целей. Правда, результатом больших потерь и, в сущности, естественного отбора стало то, что в число выпускников вошли наиболее способные к интеллектуальной деятельности слушатели.

Л. Козлова представила ИКП как одно из крупнейших учебных заведений партии того времени, перед которым была поставлена задача если не создать, то участвовать в создании генерации советских интеллектуалов, способных понять «подлинно научные закономерности развития природы и общества» и разделить ценности коммунистической идеологии [Козлова 1997: 209]. Процессуально это опять-таки связывалось с пролетаризацией и большевизацией профессорско-преподавательского и

студенческого составов, полной ревизией программ обучения, превращением обществознания в социальный институт, где априори будет достигнут чаемый партией количественный перевес новых научных сил над буржуазными, настолько значимый, что он оградит высшее образование и науку от буржуазного перерождения. Так задача создания марксистского обществоведения на первых порах свелась к реформированию кадрового состава [Козлова 1997: 210].

В одном отношении ИКП преуспел: он стал своеобразной лабораторией, где создавались и отрабатывались формы производства общественного знания, включая критику научного и идеологического инакомыслия. Именно в стенах ИКП развертывались кампании, направленные против троцкистов, меньшевистствующих идеалистов, против школы Бухарина. Одновременно из его стен вышли программы преподавания исторического и диалектического материализма, истории партии, определилась структура лекционных курсов, учебников, аспирантских программ.

Третьей ступенью совпартообразования была Социалистическая академия, с 17 апреля 1924 г. — Коммунистическая! Открыли ее на заре страны советов — в 1918 г. Она должна была решать научные, образовательные и организационные вопросы. К научным относились вопросы теории, истории и практики социализма. Она же (Академия) должна была подготовить базу для совпартшкол, стать центром советской марксистской науки, противостоять тогда еще буржуазной Академии наук (вот где зарождались узлы идеологической конфронтации). Учебной задачей являлась подготовка научных деятелей социализма и ответственных работников социалистического строительства (то есть преподавателей и управленцев высшего звена). Наконец, оргзадачи связывались со сплочением работников научного социализма. Лидером Академии оставался М. Покровский. С точки зрения структуры Академия напоминала Академию наук, она имела своих академиков и членов-корреспондентов, научных сотрудников. В состав Академии входили институты философии, истории, литературы, искусства, языка, права, мирового хозяйства, мировой политики, экономики, естествознания и аграрный. При ней были общество воинствующих марксистов-диалектиков, общество историков-марксистов, общество марксистов-государственников. С 1922 г. издавался «Вестник Социалистической академии» [Свешников 2012: 603–604].

Выводы к § 3. Совпартообразование было довольно жестким, ригидным с точки зрения идеологии, формируя механизмы советского мышления. С другой стороны, оно частично копировало гумбольдтовскую модель университета. Здесь не было необходимой свободы, но задача связи

образования, науки и практики все же как-то решалась. Для России это была высокая планка. Второй вывод состоит в том, что низкий уровень преподавания на уровне совпартшкол и невысокий уровень подготовки самих слушателей (студентов) привели к элементарному политпросвету. С помощью школ можно было сделать партийную карьеру, путь дальше был закрыт. Заявленный классовый подход выдержать не удалось. Система заглохла ввиду того, что форсированная подготовка кадров для партийного и советского аппарата утратила свою актуальность.

Принято считать, что крах советской системы был предопределен деградацией верхнего эшелона власти. Хотя более точным будет утверждение, что этот крах, в свою очередь, возник из-за истощения культурных, идеологических, человеческих ресурсов [Гудков 1999]. Задача советской интеллигенции состояла в легитимации советской власти и обеспечении поддержки режима. Последнее достигалось с помощью образования, готовившего прежде всего функционеров. Унифицированные модели этого образования исключали возможности для индивидуального разнообразия, вариативности, выбора, конкуренции. Как следствие, культурные ресурсы советской социальной системы исчерпались довольно быстро. Их хватило на первичную индустриализацию, военную модернизацию и с громадным напряжением на восстановление ущерба и разрушений, вызванных Второй мировой войной. Дела двигались до поры, пока была догоняющая индустриализация. Но едва начался период постиндустриализма, рассчитанный на преобладающую роль науки и расширенное воспроизводство знаний, страна остановилась. Начался склероз внутреннего развития образованного общества [Гудков 1999: 29–30].

Я долго искал универсальное объяснение парадоксам партийной ментальности, вследствие которых картина мира в сознании лидеров партии и партийной массы все время сужалась, будучи не способной включить в себя действительное богатство мира постоянно развивающегося человека. Почему в конечном счете потенциал созидания партийно-государственной власти в процессе руководства советским обществом окажется ниже потенциала разрушения всего, что создавалось трудом и потом народа на стройке социализма?

Над этими вопросами люди задумывались достаточно давно, видя массу страданий и трагедий не только в период революционной ломки 1917 г. и последовавшей затем гражданской войны, но и в 1930-е гг., которые пропаганда называла годами победившего социализма. Один из таких людей — наш великий соотечественник академик В. И. Вернадский, чьи дневники были опубликованы лишь в конце прошлого века [Вернадский

1992]. В 1930-е гг. он, опережая время, писал о том, что обществу, где нет свободы мысли, надо ставить гроб и свечку; полагая при этом главным не просто свободу от цензуры, а *«присутствие мысли во всех делах — победу умной силы»* (курсив мой. — Б. Ф.). Его горестные записи о том времени во многом касались власти большевистской партии, которая демонстрировала «совершенное варварство», разрушая в основе строительство новой жизни. «В действительности верхушка — деловая — ниже среднего умственного и морального уровня страны...» — напишет в своем дневнике 23 февраля 1939 г. ученый-патриот, считавший будущее этой страны великим и дорогим для себя [Вернадский 1992: 18–19]. О том же, но в более категорической форме он сделает еще одну запись 11 апреля 1939 г. «Резкое падение духовной силы коммунистической партии, ее явно более низкое умственное моральное и идейное положение в окружающей среде — чем средний уровень моей среды — в ее широком проявлении — создает чувство неуверенности в прочности создающегося положения» [Вернадский 1992: 22]. Многократно возвращаясь к этому лейтмотиву своих дневниковых заметок, иллюстрируя его собственными наблюдениями и свидетельствами из опыта личных контактов с распорядителями жизни всех рангов, Вернадский подводит к главной мысли: партия была властной силой, распоряжавшейся всеми сферами жизнедеятельности общества, но считать ее при этом еще и умной силой было делом сомнительным, если иметь в виду громадную пропасть, чудовищный разрыв, который образовался в конце 1930-х гг. между умом правителей страны и умом, который накапливался в обществе к тому моменту [Вернадский 1992: 5].

Этот смелый вывод будет результатом «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Вернадский приведет десятки убедительных свидетельств из опыта личных контактов с распорядителями жизни всех рангов (от члена сталинского политбюро Кагановича и кончая чиновниками-выдвиженцами из аппарата АН СССР). Его короткие ремарки, разбросанные по дневниковым записям, помогают осознать некое важное, латентное правило советской жизни, власть которого сохранит свою силу вплоть до развала СССР. Выражу его комбинацией из слов, использованных самим Вернадским: «Гнет и деспотизм <власти> разрушают все хорошее, что было сделано... Уровень партийных ниже среднего». Действие этого правила сохранит свою силу (по крайней мере, так считаю я, автор доклада) в послевоенные годы, хотя оно будет ослаблено постепенной утратой КПСС своего самозахваченного статуса верховного правителя, гегемона советского общества. По-настоящему «умной силой» КПСС ни-

когда не станет. Это в полной мере относится к периоду застоя, когда к власти придет поколение Брежнева, поколение недоук².

§ 4. Советские инженеры технократы за работой

После 1930 г. советские инженеры отвернулись от широкого круга социальных и экономических вопросов, которые были органической частью инженерного дела. Чистки приучили их к тому, что они обязаны сосредоточиваться на решении узкого круга технических задач, очерченного партийными лидерами (выдача продукции в объеме, предначертанном властями). Их способность повлиять на увеличение производства неизменно рассматривалась с помощью политических мерок. И потому неспособность справиться с плановыми заданиями, спущенными «сверху», могла быть истолкована местными партийными руководителям как «политическая ошибка». Честно придерживаться канонов своего ремесла было трудно, а порой и невозможно, поскольку политическая оценка взглядов инженеров предшествовала их профессиональному признанию. Всеpronикающий страх побуждал инженеров избегать конфликтов. Они переставали выходить за рамки технических заданий и уходили от постановки вопросов безопасности рабочих или их жилищных условий [Грэхэм 2000: 108–109]³.

Вторая причина сужения профессионального кругозора советских инженеров — резкое директивное изменение программ их профессиональной подготовки. Обучение инженеров было исключено из сферы компетенции Наркомпроса — органа, заинтересованного в подготовке широко образованных специалистов, и перепоручено промышленным (отраслевым) Наркоматам, чьи учебные заведения ставили перед своими выпускниками лишь узкие технические цели. Преподаватели этих институтов избегали касаться вопросов, имеющих отношение к политике или соци-

² *Недоука* (по Далю) — недоученный человек, верхогляд, верхохват, не выучившийся чему-то основательно, как должно быть [Даль 1989: 516].

³ Лорен Грэхэм — профессор истории науки Массачусетского технологического института, специалист с мировой известностью в области изучения советской науки и технологии. Его книга, на которую я буду ссылаться, посвящена трагическому опыту русского инженера П. Пальчинского и неудавшемуся социальному эксперименту, каким было строительство социализма в СССР. Мне приятно напомнить, что профессор Грэхэм несколько лет был членом Попечительского совета Европейского университета в Санкт-Петербурге.

альной справедливости, и ограничивались научно-техническими аспектами профессии. «Советские инженерные институты (теперь они были отраслевыми, ведомственными. — *Б. Ф.*) взялись производить новый тип инженера в громадных количествах, и неопиты довольно быстро потеснили инженеров дореволюционной выучки. В десятилетия, последовавшие за 1930г., Советский Союз готовил больше инженеров, чем любая другая страна; однако это были инженеры с чрезвычайно ограниченным кругозором, вся подготовка которых нацеливала их лишь на увеличение объема производства в ущерб всем прочим факторам» [Грэхэм 2000: 109–110]. Это образование было более узким не только по сравнению с тем, каким обладали их русские предшественники, но и по сравнению с тем, какое в то время получали их коллеги в зарубежных странах.

Установлено, что взгляды специалистов старой выучки на инженерное образование радикально расходились с позицией людей, ставших заправилами советского инженерного дела на полувековой период власти Сталина, Хрущева и Брежнева. В течение этого периода инженерное образование доминировало над всеми прочими его видами. Советские студенты обучались либо в университетах, число которых составляло 40 в 1959 г., либо в отраслевых институтах, которых тогда имелось в общей сложности 659, не считая высших учебных заведений заочного или вечернего типа. В период с 1930 по 1960 г. 88% советских граждан, имевших высшее образование, получили его в специализированных институтах, не принадлежавших к университетской системе. Не играли никакой роли в советском высшем образовании сталинского и постсталинского периодов неспециализированные курсы, в особенности курсы гуманитарных наук. Советского студента уже в первые семестры нацеливали на овладение профессией. Гипертрофия угрожающе узкой специализации торжествовала. В 1930-е гг. Народный комиссариат тяжелой промышленности готовил инженеров, специализирующихся по компрессорам для каждого типа оборудования, Народный комиссариат легкой промышленности готовил инженеров, специализирующихся на производстве масляных и иных видов красок, Народный комиссариат сельского хозяйства готовил агрономов, специализирующихся по отдельным растительным культурам и ветеринаров для каждой породы домашних животных [Грэхэм 2000: 114].

Особого внимания заслуживает обязательное обучение марксизму, который был единственным предметом, демонстрировавшим выход обучения за пределы технических дисциплин. Но здесь учебный материал ориентировался не на развитие самостоятельной умственной работы

студентов, а на их идеологическую индоктринацию. Три главных раздела вузовского учебника политэкономики в послесталинском СССР (по традиции предшествующих десятилетий советской власти!) молитвенно посвящались «докапиталистическому», «капиталистическому» и «социалистическому» способам производства и преимуществам советской экономической системы (общественное владение средствами производства, первоочередное развитие тяжелой промышленности). Здесь не было места таким целям, как постижение студентами сложной системы взаимоотношений и взаимодействия между обществом, экономикой и индустрией; ознакомление с идеями и учениями выдающихся экономистов, с множеством экономических теорий, разработанных в несоциалистических странах; ознакомление с вопросами и проблемами промышленного управления, экономики бизнеса⁴.

Я соглашусь с основным выводом Л. Грэхэма, что долгое время, начиная с конца 1920-х гг., студенты скоропалительно «реформированных» властью и волей Сталина инженерных вузов «получали худосочное и узкое образование», которое отличалось «интеллектуальной бедностью, политической тенденциозностью, социальной неосведомленностью и этической ущербностью» [Грэхэм 2000: 117]. В этом было бы мало радости, продолжает Грэхэм, если бы получившие это образование так и оставались бы после выпуска не более чем рядовыми инженерно-техническими работниками, служащими предприятий и научно-исследовательских учреждений Советского Союза. Но обозначим контрапункт в логике рассуждений американского историка советской науки: точно таким же было образование большинства политических лидеров страны на позднем этапе ее существования. Политика пролетаризации образования и выдвиг-

⁴ Что удивительного в том, что после краха коммунизма в СССР в конце 1980-х гг. советские инженеры и капитаны советской промышленности (о вождах страны я ничего не говорю, о них особая речь пойдет ниже) с громадным трудом адаптировались к рыночной экономике? Ведь они не владели терминологическим аппаратом, абсолютно необходимым для ее понимания. Да и откуда они могли узнать «премудрости» современной экономики, если учебник политэкономики образца 1958 г., по подсчетам пытливых американцев, содержал 231 ссылку на библиоисточники, среди которых нет ни одной работы некоммунистического толка. Треть и более составляют религиозные ссылки на Маркса, Энгельса, Ленина. Остальные — это ссылки на постановления ЦК КПСС, работы Сталина, Хрущева и Мао Цзэдуна, на законы и Постановления правительства СССР. В последующих изданиях ссылки на работы Сталина и Хрущева заменяются ссылками на Брежнева, а упоминания Мао Цзэдуна исчезают [Грэхэм 2000: 115–116]. Таким был путь познания политэкономических истин в советское время.

жения пролетарских кадров позволила им подняться на политические командные высоты. «Именно эти ограниченные технократы взялись определять весь образ жизни своих соотечественников» [Грэхэм 2000: 117]. Они (питомцы «втузированного» и «отраслированного» высшего образования) не только стали командирами советской промышленности, но и составили новое поколение партийных лидеров взамен уходивших с политической арены когорты старых большевиков⁵.

В своей книге Грэхэм напомнил советским читателям, что Брежнев, возглавлявший Советский Союз в течение 17 лет, получил свое высшее инженерное образование на вечернем отделении Metallургического института имени М. И. Арсеничева, где и специализировался по методам производства листовой стали. И, конечно же, его случай нельзя назвать уникальным. Инженеры среди политической элиты брежневского времени составляли долю, не имевшую себе равных в других промышленно развитых странах. Со ссылкой на одну неопубликованную в США научную работу Грэхэм пишет, что в период между 1956 и 1986 гг. доля членов Политбюро ЦК КПСС, имевших техническое образование, возросла с 59% до 89% [Грэхэм 2000: 118].

Задавшись целью определить технократию как режим правления, во главе которого стоят люди с техническим образованием, окажется возможным представить Советский Союз последней четверти XX в. как безусловно технократическую державу. Но это была держава, во главе которой стояли инженеры с более узким образованием, чем их коллеги в остальных странах мира. Выясним, какой отпечаток такое ограниченное образование большинства высших администраторов, распорядителей, душприказчиков Советского Союза отложило отпечаток на их стиль управления страной и приоритеты.

Упрямый догматизм сознания был первой и, смею думать, наиболее важной отличительной чертой, приобретаемой в процессе обучения советскому марксизму. Догматизм позволял самонадеянно считать жизнеустройство, полученное в ходе строительства социализма в одной отдельно взятой стране, вершинным, мировым достижением, ставящим СССР на

⁵ В 1960–1970-е гг. в нашей стране так много партийных и правительственных функционеров высшего ранга имели инженерные специальности, что не без оснований американские советологи говорили и писали о советском инженерном образовании как о форме подготовки к высоким политическим карьерам, сравнивая его роль с той ролью, которую играло юридическое образование в служебных карьерах политических лидеров США.

место передовой державы мира, и игнорировать очевидные, эмпирически подтверждаемые, экономические и социальные успехи и рекорды других государств и обществ. Было ли при этом обучение самой большой в мире армии инженеров, состоящей из людей, волей партии большевиков предназначенных для того, чтобы стать во главе всей советской бюрократии, достижением? Такой вопрос, несомненно, имеет единственный ответ: достижением это обучение считать нельзя.

Догматизм не выветрился и тогда, когда пришла пора взять на себя ответственность за судьбы громадной страны. Парадоксально, но брежневское Политбюро и ЦК КПСС оставили без реакций качественную трансформацию жизни ведущих западных стран. Мир начал говорить на другом языке, отражающем феноменологию радикальных перемен. Дж. Гэлбрайт возвестил приход Нового индустриального общества [Гэлбрайт 1969], чуть позже Д. Белл изложил картину наступления постиндустриального общества [Bell 1973]. Нельзя сказать, что труды и мысли американских провидцев остались незамеченными в СССР. Книгу Гэлбрайта (через год после ее выхода в США) издали в нашей стране в 1969 г. под грифом «Для научных библиотек». Она продавалась по предъявлению справки с места работы о том, что податель справки имярек нуждается в книге как имеющей отношение к его научной деятельности. Книга Белла сразу попала в спецхран ИНИОН АН СССР, но спустя некоторое время вышел в свет стерилизованный дайджест ее перевода на русский язык, где для удобства читателя приводились избранные цитаты с указанием страниц в подлиннике. Гриф «Для служебного пользования» (сокращенно — ДСП) означал, что все экземпляры дайджеста перенумерованы, их хранение, а также использование сообществом ученых контролируется первыми отделами научных учреждений-получателей. Читать литературу с грифом ДСП следовало только на работе, держать ее дома запрещалось. Научные дискуссии, посвященные обсуждению этих книг, акцентировали внимание на том, что в них речь идет о явлениях, присущих капиталистическому обществу и к СССР никакого отношения не имеющих⁶. Однако в

⁶ «Марксисты же из признания далеко зашедшего обобществления производства при капитализме делают вывод об обострении основного противоречия капитализма, о неизбежности замены частного способа присвоения общественным, то есть социалистическим, о подготовке условий для победы социалистической революции», — писали советские авторы вступительной статьи к книге Гэлбрайта [Гэлбрайт 1969: 21]

реальности нарастающая власть техноструктуры⁷ (одно из актуальных понятий, выдвинутых и эмпирически обоснованных Гэлбрайтом в своей книге) была *de-facto* явлением, присущим не только тому строю, который на языке идеологии назывался системой свободного предпринимательства, или, попросту говоря, капитализмом. Если вмешательство частной власти в лице собственников устранялось в частной фирме, то подобным же образом следовало устранить вмешательство власти государства в государственной фирме. «В результате, подобно тому, как вызывает недоумение капитализм без контроля со стороны капиталистов, будут удивляться социализму без контроля со стороны общества. Окончательным следствием явится коренной пересмотр перспектив социализма, по крайней мере той его формы, которая большинству социалистов представляется идеальной» [Гэлбрайт 1969: 142].

Парадигмы «нового индустриального общества» и «постиндустриального общества» четко обозначали неотвратимость наступления глобализации мира, которая станет причиной трансформации множества авторитарных режимов и глубоких социально-экономических реформ. Мир переходил на другой язык в своих попытках описать и осознать имевшие место коренные изменения, а в СССР продолжали глубокомысленно говорить на наречии доктринального марксизма.

Гигантомания — самонадеянная убежденность в том, что самые большие предприятия и есть самые лучшие. Поэтому и «созидали» с громадным размахом, не видя и не чувствуя, что с точки зрения рациональной политики инвестирования ресурсов, экологической безопасности, социальных издержек гигантские проекты были во многом ущербными [Грэхэм 2000: 119]. Высший административно-управленческий персонал, составленный из когорт пролетарских инженеров-выдвиженцев, имел особую слабость к масштабным проектам, но «плавал» в таких вопросах, как экономика, анализ издержек и выгод, не говоря уже о социологии и психологии. С трудом их можно было назвать настоящими инженерами.

Стремление к сугубо техническому решению проблем, которые по своей сути и природе были экономическими и социальными. Оно особым

⁷ По Гэлбрайту, техноструктура — коллективная единица, она охватывает всех, кто обладает специальными знаниями, способностями или опытом группового принятия решений. Именно эта группа людей, а не собственник, не администрация, направляет деятельность предприятия, является его мозгом. Не существует, писал Гэлбрайт, специального термина для обозначения всех, кто участвует в процессе принятия решения группой или в организации, которую они составляют. Поэтому ученый решил назвать эту организацию техноструктурой [Гэлбрайт 1969: 112].

образом проявило себя в аграрной политике страны, опиралось не только на безотчетную веру технократов в преимущества социалистического землевладения, но и на убеждение, что современная агротехника не может эффективно работать на земле, поделенной на небольшие частые угодья. Ставка Хрущева и Брежнева на крупные механизированные совхозы себя не оправдала. В 1970-е гг. Советский Союз производил больше тракторов и комбайнов, чем любая страна в мире, но сельскохозяйственное производство по-прежнему буксовало, а питание народа было скверным. Равнодушные, незаинтересованные работники агропромышленных комплексов не могли соперничать с трудолюбивым фермером или крестьянином-единоличником. Но политические лидеры-технократы не чувствовали мотивационных проблем.

Дефицит эстетических взглядов. Речь о непротивлении власти унылому однообразию обиходных элементов жизни советских граждан. Эстетика всего общества была продиктована мещанскими вкусами узкообразованных инженеров — как тех, кто создавал однообразные вещи, так и тех, кто стоял у власти.

В своей книге «Призрак казенного инженера» Грэхэм поднимает еще один важный вопрос, который имеет прямое отношение к дискурсу об особенностях высших эшелонов советской технократии. Герой его книги русский инженер Петр Пальчинский обладал одним свойством, которое заслуживает быть упомянутым в нашем случае. Это этическая чуткость его воззрений на отношение техники и общества, более всего отличавших данные воззрения от технократических доктрин первой четверти XX в. В то время как американские инженеры и их последователи в других странах мира превозносили «тейлоризм» и «фордизм» за небывалый, невиданный ранее рост производительности труда (производства)⁸, Пальчинского мучил вопрос о том, как эти технологические методы могут влиять на рабочего. Будучи человеком, который всегда исходил из благополучия рабочих, он не соглашался считать эффективность (производительность) промышленного производства в качестве единственных его задач. Он был убежден, что эффективность и социальная справедливость — «близнецы-братья», а не антагонисты, противостоящие друг другу. Пальчинский этим предугадал пагубные последствия скоропалительных прожектов сталинской индустриализации, попиравших в равной мере и хорошую инженерную практику, и широко понимаемые этические стандарты. Магнито-

⁸ Большевицкие лидеры тоже встретили эти технологии бурными, долго не смолкавшими аплодисментами.

горск — неудавшийся город-сад эпохи побеждающего социализма в одной отдельно взятой стране. За ним встают загрязненные и бесчеловечные индустриальные города бывшего Советского Союза, окутанное ложным пафосом созидания строительство Байкало-Амурской магистрали в застойное время [Социология и власть 2001: 98–102].

Приходится повторить вслед за Грэхэмом, что начиная с 1930-х гг. Советский Союз, к беспочвенной гордости его руководителей, стал готовить инженеров в количествах, превосходящих все другие страны. Однако эти новые инженеры были людьми, твердо усвоившими урок, «зарубившими на своем носу», что они не должны вмешиваться в политические или социальные вопросы. Но даже если бы они и пожелали того, получаемое ими образование было настолько ограничено, лучше сказать, искусственно заужено техническими рамками, что они в принципе были не готовы решать эти вопросы. Как мы теперь знаем, в послесталинское время они поднялись до самых влиятельных позиций и командных высот в партии и правительстве. «Однако у Пальчинского, — делает неопровержимый вывод Грэхэм, — вызвал бы ужас тот тип инженера, который занял большинство постов в советском обществе» [Грэхэм 2000: 161]⁹.

Всего один пример из недавнего прошлого проиллюстрирует ограниченность их кругозора. В 1971 г. закончилась трехлетняя история Советской ассоциации научного прогнозирования, созданной с целью «координации усилий ее индивидуальных и коллективных членов в деле предвидения, планирования и управления развитием науки, техники, экономики, общества». За короткий срок своего существования эта ассоциация сумела объединить свыше 2000 специалистов, желающих выполнять патриотическую работу для страны в надежде на то, что

⁹ Скажу с ностальгическим чувством уважения к российской дореволюционной технической интеллигенции, что Пальчинский и его коллеги, признавшие советскую власть после большевистской революции, остались привержены своему представлению об инженере, активно вовлеченном в социальные вопросы. Более того, новый режим открыл им новые, ранее не существовавшие возможности — быть не только техническими консультантами, но и строителями общественной жизни. При социализме, думали они, проектируемые инженерами промышленные поселения будут несравненно лучше тех, что вырастали вокруг шахт и заводов при капитализме. Но это стремление быть в центре нового общественного жизнеустройства столкнуло инженеров лоб в лоб с решимостью Сталина сосредоточить полноту власти в своих руках. Он обвинил инженеров в государственной измене, во вредительстве, хотя вся их вина заключалась в стремлении поднять свой общественный авторитет [Грэхэм 2000: 161].

государство создаст необходимые условия для проявления полезных обществу гражданских и научных инициатив. (Каждый второй член ассоциации был членом КПСС, каждый четвертый — имел ученую степень кандидата или доктора наук, остальные — высшее образование, более 90% — владели иностранными языками!) Но вместо того чтобы поддержать эти инициативы и обеспечить свободу членам ассоциации в стремлении активно воплощать в жизнь Программу КПСС, партийно-государственная машина, которой заправляли инженеры-технократы, приступила к полномасштабной операции, направленной на их пресечение.

В начале этого года специальная комиссия ЦК КПСС, опираясь на Главлит при Совете Министров СССР, Комитет государственного контроля, аппарат ЦК КПСС, членов Политбюро и секретарей ЦК КПСС, установила, что создание общественной организации — Всесоюзного общества (Советской ассоциации) научного прогнозирования, начатое при активной поддержке ИКСИ АН СССР, Госплана СССР, Всесоюзного общества «Знание» и других официальных организаций и ведомств, — сопровождалось грубейшими нарушениями всех государственных и партийных установлений, имевшихся на этот счет. Гнев вызвали самые что ни на есть заурядные факты: самостоятельное проведение всесоюзных симпозиумов по научному прогнозированию с попытками объединить разрозненные группы ученых, создав отделения Общества в союзных республиках, областях страны, и выйти за пределы страны с целью организации Международного конгресса по научному прогнозированию. И все это — без какого бы то ни было контроля «сверху» [Социология и власть 2001: 98–102].

Еще один документ этой комиссии, датированный 5 марта 1971 г., констатировал, что большое число проводимых по инициативе ученых научных и научно-технических совещаний, съездов, конференций, симпозиумов и семинаров, посвященных научному прогнозированию, вызывает серьезную озабоченность высшего политического руководства страны. В 1970 г. было организовано около 1600 всесоюзных научных мероприятий с участием 200 000 человек. Большинство из них были стихийными, «внеплановыми», а часто и вовсе не учитывались. «При таком огромном количестве совещаний возможны любые неожиданности, ибо ни партийные, ни государственные органы не в состоянии обеспечить должного контроля за их работой» [Социология и власть 2001: 108–111]. Требовалось остановить эту стихию, сделать ее подконтрольной для властных структур, уставших от непрестанной борьбы за порядок на территории подведомственного им государства.

Точку во всей этой истории поставил брежневский Секретариат ЦК КПСС, приняв 12 мая 1971 г. постановление «О незаконной деятельности так называемого Всесоюзного общества (Советской ассоциации) научного прогнозирования» [Социология и власть 2001: 117–119]. До принятия этого постановления Комитет партийного контроля при ЦК КПСС изъял у ассоциации документы, и в результате ее деятельность была фактически прекращена еще до принятия этого директивного документа. Энтузиастам прогнозирования не помогли ссылки на ленинский декрет (постановление СНК от 25.08.1921 г.), где предлагалось создавать условия для плодотворной работы инженерно-технических работников РСФСР, предоставлять им всяческое облегчение к устройству научно-технических обществ, собраний, содействовать изданию ими своих печатных органов и произведений, а также помогать «сношению с научно-техническими организациями за границей». Не помогло и прямое обращение к XXIV съезду КПСС, в котором говорилось, что поддержание творческой и патриотической инициативы советской интеллигенции находится в полном соответствии с указаниями и заветами Ленина и является существом содержания одного из аспектов понятия о партии как о руководящей и направляющей силе нашего общества. Сама эта сила начала погружаться в дремоту, убаюканная кайфом от самовнушенных успехов социалистического строительства.

Глава 7. Был ли официальный дискурс гегемоническим?

Один из лидеров Пражской весны Иржи Пеликан стал моим личным другом после Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. В свой последний приезд в Москву, уже в перестроечное время, он рассказал мне о событии, которое можно считать триггером (спусковым механизмом) советского вторжения в Чехословакию в августе 1968 г. В центре Праги, в конце Вацлавского наместья, там, где начинались улочки Старого города, с незапамятных времен стоял дом с брандмауэрной стеной. Вскоре после войны на ней появился громадный транспарант, изображавший советского солдата с чешской девочкой на руках. Под изображением была надпись-лозунг: «С Советским Союзом на вечные времена!» Пока пражане против этого не возражали, лозунг не трогали. Более того, на пустыре перед брандмауэром открыли летнее кафе, всегда заполняв-

шееся посетителями. Пражская весна началась с того, что в одну весеннюю ночь к стене подъехала машина с подъемной люлькой для ремонта уличного освещения, в нее пересели художники. Они дополнили лозунг словами: «И ни минутой дольше!» Уже с утра наступившего дня урочище благодарной национальной памяти стало местом сбора многочисленных толп пражан по преимуществу «ревизионистов» и «антисоветчиков», о чем наше посольство незамедлительно сообщило в Москву, считая, видимо, советскую чашу политической толерантности переполненной. Именно с этого момента, по мнению И. Пеликана, вторжение танков стало неотвратимым. Такова сила публичного слова! Язык, на котором с народом говорили партия и ее лидеры, в эпоху брежневского безвременья этой силой не обладал.

(1) Даже в тех случаях, когда мы думали по-человечески (кто хочет войны?), говорили мы на идеологическом языке [Черняев 2008: 19]. Случайностью переход в официальный регистр не назовешь. Во-первых, давило представление о стране как об идеологической державе, части международного коммунистического движения, вступившей в борьбу за утверждение коммунистических идей. Во-вторых, десятилетия приучили представлять любое явление только в терминах идеологии. В-третьих, от идеологии кормилось громадное число людей, весь общественный и партийный механизм. В-четвертых, идеология помогала сводить личные счёты, держать в узде науку, культуру, искусство. В-пятых, идеология слилась с фальшивой пропагандой успехов. Она выступала главным средством поддержания статус-кво и одновременно инструментом сокрытия истинного положения вещей (зерно покупали постоянно!) в условиях, когда Запад бесконечно «врал», крича на весь мир о наших «трудностях». Масштабы тиражирования этого языка заставляли думать не только о его неограниченных возможностях, но и о вездесущности, всепроницаемости.

Учиться марксистской науке было предписано всем и по одному и тому же учебнику, каким был «Краткий курс истории ВКП(б)». За 15 лет, 1938–1953 гг., он переиздавался 301 раз тиражом 42 816 000 экземпляров на 67 языках, представляя собой унификацию народного сознания на основании идей сталинизма, культ личности Сталина, концепции казарменного социализма. Его конвертация в учебник «История КПСС» (восемь изданий за 1959–1985 гг.) сопровождалась отказом от критики Сталина, критики «Краткого курса». В итоге концептуальное сходство «Истории» с «Кратким курсом» стало разительным. Мысль о выпуске

еще одного «Краткого курса» КПСС не покидала высшее руководство партии до ее развала. «Иначе думать и действовать КПСС не могла!» [Советская историография 1996: 269].

Ведь на этом языке говорили комсомол, органы советской власти, профсоюзы, средства массовой информации, к использованию этого языка сервильно или по убеждению прибегали институты просвещения и образования, издательские комплексы и т. д. и т. п. Однако главной средой, где этот язык порождался и формировался с целью распространения по всем клеточкам общественного организма, была КПСС.

(2) Теория, произносимая с амвонов научного коммунизма, являлась парафразом, пересказом «Краткого курса истории ВКП(б)» и, по существу, фальсификацией канонического марксизма-ленинизма. Это были мифы, лишённые доказательной силы и основы, фактически они разлагали общество, вместо того чтобы его цементировать (исходя из целей создания коммунистического общества). Впрочем, могло ли быть иначе, если язык идеологических мифов и язык реальной политики были взаимно неприемлемы [Черняев 2008: 59]. Мифология отрывалась от действительности, превращаясь в газетную тарабарщину. Ясно представляя себе, от кого это исходит, люди говорили о дряхлости правителей. Идеологический маразм все сильнее отталкивал детей от отцов [Черняев 2008: 178].

Начиная с 1970-х гг. в философской литературе доминировал так называемый академический марксизм (его творцом был вице-президент АН СССР, академик П. Федосеев), который образованные сотрудники и консультанты ЦК КПСС называли не иначе как федосеевским марксизмом — пугливым, беспомощным, невежественным, неспособным поставить проблему, ибо его цель состояла не в проникновении в суть вещей, а в клеймении иностранных и в отлавливании отечественных ревизионистов [Черняев 2008: 45]. Сродни академическому марксизму были доклады секретарей ЦК КПСС, руководивших идеологическими отделами и притязавших на роль людей, творчески применявших марксизм-ленинизм для целей политики партии. Здесь особое значение имели доклады к памятным датам «красного календаря». Таким был доклад секретаря ЦК М. Зимянина (о 107-й годовщине со дня рождения Ленина), который, по сути, являлся не более чем призывом равняться на школьную теорию, преподававшуюся во всех без исключения советских вузах и отражавшую главную цель КПСС того времени: верность канону (доктринальному ленинизму).

В наиболее общем случае то, что реально циркулирует в истории, не системное представление в том виде, как его оставил нам гений¹⁰, а изменяющиеся имитации, подделки, искажения этого представления в сознании отдельных людей, но именно они влияют на поведение большинства. «Так, марксизм — это не обязательно то, что написал Маркс в “Капитале”, а то, во что верят многочисленные воюющие между собой секты, члены каждой из которых считают себя его единственными последователями» [Липпман 2004: 115]. Слова, написанные в 1920-е гг., оказались пророческими и не утратили своей ценности в конце XX в.! Еще одно важное место: «Поскольку идеология имеет дело с невидимым будущим, равно как и с весьма осязаемым настоящим, она довольно быстро и незаметно выходит за пределы области, поддающейся проверке... Любой марксист тверд как скала в своих представлениях о жестокостях настоящего и жизнерадостен как солнечный свет в видении будущего, которое наступит на следующий день после установления диктатуры пролетариата... Поэтому пропагандист ограничивается умеренно реальным началом, а затем нагнетает интерес, размахивая перед носом пассажиров билетом на небеса обетованные» [Липпман 2004: 173].

(3) Хотя теория имеет первостепенное значение, официальный язык «сломался» не на теоретических этюдах, а на попытках его массовой индоктринации. Масса погасила революционный дух канонов тем, что постепенно отказывалась от веры в них. Пионером ослабления «взрывной силы марксизма» выступил Сталин. Затеянную им лично в 1950-е гг. полемику с академиком Н. Марром Вождь народов (который умел каждый свой шаг иезуитски просчитывать наперед, упреждая многие возможные последствия) использовал для того, чтобы отказать сначала языку, а следом и советскому обществу в возможности быстрых и внезапных изменений. Где нет враждебных классов, там не нужны «взрывы». Подлинный марксизм, провозглашавший революцию повивальной бабкой истории, стал политически опасным для руководителя страны. Главный просчет этой теории состоял в том, что она предлагала единственный путь развития, в то время как на самом деле их было множество.

При этом сама мысль о кризисе учения Маркса в нашей стране считалась «святотатством», крамолой. Обсуждение, а тем более высказывание сомнений в канонах доктринального марксизма запрещалось. Идеологи-

¹⁰ Липпман использовал слово «гений», поскольку в СССР «вероучителей» называли «нашими гениальными предшественниками».

ческая машина работала на полную мощность. В вузовских аудиториях читались лекции по основам марксизма-ленинизма. Эти курсы вели люди с вовсе не глупыми, но навсегда засекреченными лицами, говорившие без интонации и без эмоций, почти никогда не улыбающиеся и способные наизусть цитировать целые страницы из трудов основоположников. Они жили в мире властвующих над ними мнимостей, которые, несомненно, превалировали над реальностью. В этом мире ничего не обсуждалось, не аргументировалось, но, в отличие от религии, на аргументированность претендовало. Были среди них, марксистов, и откровенные идиоты, тупо читавшие свои лекции по затрепанным машинописным листам, как один доцент Института имени Репина, уличенный во взятках и закончивший свою карьеру заведующим культурно-массовым отделом зоосада. «Но в большинстве своем это были люди разумные, этакие авгуры, даже сами себе не признававшиеся ни в чем, кроме истовой преданности излагаемым идеям. (Их психика раз и навсегда была поражена воспаленной верноподданностью!) За ними стояла таинственная ирреальная власть, они были прямыми инструментами верховного волеизъявления. Их боялись, и было за что» [Герман 2006: 198]. Когда иные из них, железным и стрекочущим голосом делали на лекциях персональные замечания, помня все фамилии, студенты чувствовали себя как в застенке и потому боялись педагогов-надзирателей до немоты! По источникам велись конспекты, что было мучительно, поскольку, читая уничижительные пассажи Ленина про «рenegата Каутского», а Каутского, разумеется, не читав никогда, понять все это было немислимо и, главное, понимать не хотелось — неинтересно до столбняка. Однако в нас неуклонно и безостановочно вбивалась мысль, словно солдатам-одногодкам: «Не отдашь честь — получишь наряд вне очереди». Иными словами — мы привыкали к обязательности бессмысленных ритуалов, мирились с ними, теряя силы и желание думать [Герман 2006: 198–200].

В 1970 г. страна широко отмечала 100-летие со дня рождения Ленина. Как бы в память о вожде в это время рабочие и служащие, включая служивую интеллигенцию всех мастей, сдавали «ленинский зачет», занимаясь во всеохватной системе партийного просвещения. Наиболее добросовестные слушатели этой системы, отличники, получали от парткомов премию — пятитомник Брежнева «Ленинским курсом». Изданный громадным тиражом, данный «шедевр» партийно-политической мысли долгое время пылился на затоваренных книжных складах, пока не был изобретен освященный правилами «партийной религии» этот иезуитский способ продвижения пятитомника в массы граждан, интересующихся

«современными вопросами теории и практики строительства развитого социализма». Избавиться от подарка было нельзя. Хотя в стране полным ходом шел сбор бумажной макулатуры, в обмен на которую можно было «достать» дефицитную художественную и приключенческую литературу, принимать пятитомник как «вторичное сырье» (по весу) было стройжайше запрещено.

Прозорливость западных ученых и ряда коммунистических партий, европейских в первую очередь, в том, что касается констатации кризиса марксизма (и его советизированной версии), принципиально игнорировалась в Советском Союзе. Вера в неисчерпаемый познавательный потенциал марксизма — одна из причин того, что социальные дисциплины слишком поздно обратили внимание на альтернативы марксистскому (монистическому) пониманию мира. Монизм здесь выступал синонимом определенной теоретической узколобости (*narrow-minded scholars*). Именно он помешал увидеть кризис единственно правильного и непобедимого учения и сделать его предметом публичной научной дискуссии и постоянной темой обсуждения теоретических проблем и разделов общественных наук.

(4) Теперь о публичном языке и вождей. А. Синявский пишет: «Складывается индустрия абстрактных слов и понятий, которые фактически ничего не обозначают, но, тем не менее, произносятся с апломбом в ходе переливания из пустого в порожнее. И это составляет верхний элитарный этаж советского языка и служит одновременно его метафизическим зерном и основанием» [Синявский 2001: 282].

Для меня эти слова иносказательно, но образно определяют официальный регистр, подвластный и речевой стихии, и бюрократизации речи, но одновременно не способный перекрыть народную речь. Живой разговорный язык, куда более интересный и богатый, будет существовать параллельно с официальной «мовой», но в любом случае не обособленно. Другое дело, насколько «мова» будет тяготеть к переплетению и контактам с народным словом. Давайте вслушаемся в публичные речи вождей.

20 мая 1976 г. Брежнев выступил на совещании партработников — представителей организационных отделов партийных комитетов разного уровня. Правда, текста выступления в газетах не было. Впечатления от этой встречи с лидером партии и страны участники совещания, азербайджанец и армянин, рассказывали в совершенно ошеломленном состоянии, не зная, удивляться, издеваться, возмущаться или что-нибудь еще. Собрали, говорили они, но народу оказалось мало, зал полупустой. Наверное,

потому что заранее не предупредили — и ребята разбежались по магазинам. Вошел Брежнев в зал. Все вскочили и хлопают, крики. А он поднялся в президиум и заговорил. Примерно так. [Черняев 2008: 229–230]:

«Вот Костя (это секретарь ЦК Черненко!) заставляет меня выступать перед вами. А чего говорить — не знаю. Вроде мы с вами встречались два года назад. (Черненко вскакивает: “Два года и 31 день, Леонид Ильич!”) Ну, вот... память-то, видите, у меня какая! Да... Мы вам тогда слово дали? Дали и сдержали. Тогда вы были завсекторами, а теперь зав. отделами. И зарплата другая. И положение другое. Правду говорю?! (Бурные аплодисменты.)

Ну, вы знаете, съезд мы провели недавно. Большое событие. Будем теперь выполнять. Что вам сказать? Я без шпаргалок. (Показывает карманы.) Говорят, итальянцы, французы болтают про нашу демократию. Не нравится она им. Ну и пусть. Мы пойдем своим путем! (Делает жест, как на ленинских памятниках.) Американцы дураят. Просыпаюсь тут утром. Делать ничего не хочется... (Потягивается.) Приносят шифровку. Мол, Форд просит отложить подписание договора о ядерных взрывах [в мирных целях]. Ах, ты, думаю... Кладу резолюцию Александрову: “Отложить, но пусть он теперь меня как следует попросит еще раз — подписывать”.

На днях, вы знаете, большое событие было. Поставили мне бюст. А Политбюро вынесло постановление присвоить мне как Генеральному Секретарю и председателю Совета Оборона звание Маршала Советского Союза. Это важно... (И шутит.) Вы, конечно, отметили это событие в своих выступлениях на совещании. (Черненко вскакивает: “Да, конечно, Леонид Ильич, все об этом говорили с большим подъемом...”)

Костя меня уговаривал прийти сюда в маршальском мундире... (Черненко: “Да, конечно, все хотели видеть Вас в мундире... Но раз уж Вы... Мы тут...” И поднимает из-за стола президиума портрет Брежнева при полных регалиях. Держит обеими руками перед собой. Овация. Черненко ставит на стол портрет, выглядывает из-за него и кричит в зал: “Леонид Митрофанович, давай...” Из второго ряда поднимается Замятин (директор ТАСС) и несет в президиум еще один портрет, тоже в маршальском одеянии, но в красках (первый был — увеличенная фотография)... Два высоко поднятых портрета... Овация!) Ну, что вам еще сказать, — продолжает Брежнев. — Событий много. Пусть шумят, кому мы не нравимся. А мы пойдем своим путем! (И опять ленинский жест.)»

Что это значит не в смысловом, а в стилистическом отношении? Многие советские руководители не могли словами выразить свою мысль. Любому образованному человеку в Советском Союзе резало ухо, когда вожди перед всем народом выступали по радио и телевидению.

На всех официальных мероприятиях партии произносились речи, написанные референтами разного уровня и ранга. Герой моего рассказа Брежнев ничего сам не писал, не правил написанное для озвучивания. При первом ознакомлении с текстом будущего выступления одобрительно кивал головой или, прервав читчика (подлинного автора текста), начинал говорить все, что могло прийти ему в голову. «Любил делиться воспоминаниями из собственной жизни, поглаживая одновременно колени сидевших рядом стенографисток» [Яковлев 2000: 172]. Редко, но возникали случаи, когда он возражал. Как правило, это случалось лишь тогда, когда лидера партии беспокоили какие-то словечки из непривычного лексикона, включавшиеся в текст официальных речей с целью избежать банальности.

Сохранились свидетельства того, как высокопоставленные и высокообразованные сотрудники аппарата «всячески изошрялись, чтобы ввести в общую ткань словосочетаний и штампов нечто новое, какие-то свежие понятия — по крайней мере, новые слова. Жила наивная надежда, что все эти “хитрости” помогут просвещению вождей» [Яковлев 2000: 173]. Все было напрасно! Побороть новояз в таких случаях было невозможно. В нем заключалась сила, способная каждое необходимое понятие выразить едва ли не единственным словом с вполне определенным значением. Побочные значения будут либо упразднены, либо забыты. «Задача новояза — сузить горизонты мысли!», о чем весьма доказательно писал Дж. Оруэлл! Язык официоза устремлялся к «предельной бессодержательности». Написанные на нем тексты (передовицы партийных газет, доклады вождей разного ранга) становились «оболочками пустоты» [Сарнов 2005: 391].

(5) Форумы партии — съезды, пленумы ЦК КПСС. Всякий, кому довелось прочесть книгу В. Клемперера «Язык Третьего рейха», не мог не обратить внимание на тождество этого языка советскому новоязу. Практически всякому словечку из политического лексикона Третьего рейха можно найти соответствующий советский аналог. Я задержу ваше внимание на употреблении эпитета «исторический». «Всякая речь фюрера, пусть даже он в сотый раз повторяет одно и то же, — это историческая речь, любая встреча фюрера с дуче, пусть даже она ничего не меняет в текущей ситуации, — это историческая встреча... Победа немецкого гоночного автомобиля — историческая, торжественное открытие автострады — историческое... любой праздник урожая — исторический, как и любой партийный съезд, любой праздник любого сорта» [Клемперер

1998: 63]. То же самое явление наблюдалось, когда речь заходила о съездах КПСС. Советская партийная пропаганда без стеснения, не зная меры, внушала мысль об их всемирно историческом значении населению страны. Однако цена этих событий была крайне невысокой, о чем не раз писали устроители съездов брежневской поры. О том же говорили и некоторые любопытные действия партийных властей. Перед каким-то очередным пустопорожним съездом (дело было в середине 1970-х гг.) московское руководство распорядилось снять театральную афишу спектакля «Много шума из ничего». Чтобы у москвичей и гостей столицы не возникало нежелательных аллюзий (как тогда было принято говорить), название известной шекспировской пьесы изменили, она стала называться «Любовью за любовь».

С точки зрения обсуждаемых нами проблем их главный недостаток — атрофия умения вести внутривнутрипартийные дебаты, отстаивая собственную точку зрения. Ей по контрасту противостоит и на ее фоне выделяется одна традиция: одобрять известное мнение партийных начальников. Говоря об одобрительном наклонении официального языка, сошлюсь на то, что оно опиралось на поведенческие акты, на аплодисменты и овации как высшую форму одобрения официально выраженного мнения. Все начиналось (если верить стенограммам съездов) с реакций типа: «В зале раздаются возгласы одобрения!», а затем «бесстрастный стенограф» фиксировал стадии нарастания температуры в зале: «Аплодисменты», «Продолжительные аплодисменты», «Бурные аплодисменты», «Бурные аплодисменты, переходящие в овацию!», «Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают!», «Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают и исполняют партийный гимн “Интернационал”!» Во многих случаях газетные публикации речей рябили от набранных курсивом ссылок на аплодисменты. Читатели, однако, с трудом разделяли восторженные реакции аудитории, к которой обращались с публичными речами руководители партии и государства.

Случай позволил мне оценить как искренность этих реакций, так и меру их соответствия истинным настроениям зала. В 1961 г. я был избран делегатом на XXII съезд КПСС, тот самый съезд, в соответствии с решениями которого здравствовавшие тогда поколения советских граждан в 1980-е гг. должны были жить при коммунизме. Участвуя в заседаниях съезда и занимая закрепленное за мной место в первых рядах громадного зала, я совершенно случайно обратил внимание на то, что справа от президиума, заполненного иерархами КПСС и почетными гостями (лидерами коммунистических и рабочих партий), находился небольшой стол. За сто-

лом неотлучно сидел человек, сосредоточенно читавший бумаги и как бы следивший за текстом, произносимым ораторами. Это было заметно по движению его головы и рук, скользивших по страницам. Следя за ним, я обнаружил важную деталь. Время от времени он отрывался от текста, выпрямлялся, поднимал голову и бросал взгляд в сторону ложи (балкона), где размещались ответственные сотрудники отделов ЦК КПСС. Еще одно мое наблюдение было акустическим, а не зрительным. Все без исключения первые хлопки, выражавшие одобрение речам ораторов на трибуне, всякий раз исходили из одного и того же места. Этим местом были первые ряды правого балкона. Заражение делегатской массы запрограммированным энтузиазмом служивого люда, собранного на балконе, происходило всегда с определенной временной задержкой.

Теперь легко представить весь «механизм» народного одобрения. Тексты, которые произносили («читали») с трибуны ораторы, были одновременно текстами, за которыми следил человек на сцене рядом с президиумом. Для него эти заготовленные заранее тексты были партитурой одобрения речей делегатов и гостей партийного форума. Его поза и взоры в сторону балкона служили сигналом для первых хлопков «одобрямса», производившихся специальной группой из сотрудников партийного аппарата самого высокого уровня. Следовавшие за первичными хлопками аплодисменты зала выполняли роль маркеров политического одобрения линии партии. Недаром они фиксировались в стенограммах съезда, а затем переносились на страницы центральных газет для сведения широких народных масс в качестве доказательства успеха генеральной линии партии.

Иновация хрущевской поры прижилась. Свидетельствую, что в начале 1980-х гг. ею пользовался Г. Романов при выступлениях с докладами в качестве первоприсутствующего лица на торжественных заседаниях или собраниях партийного актива, если они проходили в стенах Ленинградского концертного зала на Лиговке. Архитектура этого зала была навеяна архитектурой Большого Кремлевского дворца съездов в Москве. Она позволяла без искажения запускать механизм воспроизводства ритуальных для КПСС оваций, мини-триумфа, восторженного одобрения, на что были так падки партийные вожди.

Однако главная черта форумов — многоговорение и пустословие. Известно из уст аппаратчиков, что после XXIII съезда КПСС (первый съезд брежневского периода правления, март-апрель 1966 г.) было решено, что на пленумах ЦК КПСС члены руководства, кроме Брежнева, не выступают (по моей гипотезе, как бы подчеркивая этим жестом намерение оста-

вить больше времени «низовым» кадрам для выдвижения актуальных проблем жизни народа, общества и государства). В реальности реализовать это решение не удалось, как не удалось добиться того, чтобы имело место «обсуждение», а не только «поддержка доклада», с которым обычно выступало первое лицо. Сохранились воспоминания о том, как благие намерения оживить официальный дискурс были похоронены в начале 1973 г. на пленуме ЦК КПСС, посвященном неотложным вопросам экономического развития. Приведу зарисовку с натуры: «... все пошло по обычному кругу: Ленинград, Свердловск (Урал!), республики по периметру и по кустам (Азербайджан от Закавказья, Киргизия от Средней Азии), от Прибалтики Снечук, у которого на второй фразе сел голос и он говорил шепотом... Машеров громким, театрально поставленным голосом извергал поток пышных слов — совершенно бессодержательный пропагандистский треп. И его откровенно никто не слушал, как, впрочем, многих других. В зале стоял во время таких выступлений шум, некоторые разговаривали прямо в голос, и председатель то и дело нажимал на звонок, призывая к порядку... То есть разыгрывался обычный спектакль, как на публичных мероприятиях, прерываемый, однако, на отдельных деловых точках» [Черняев 2008: 50]. Этими точками были выступления нескольких членов Политбюро, но изменить своим содержанием впечатление от «обычного спектакля» они не смогли!

Несколько раз в год в Москве проходили торжественные заседания. Среди них выделялись заседания, посвященные очередным годовщинам со дня смерти Ленина и Октябрьской революции. Доклады, произносимые по данным поводам, должны были содержать новые идеи и красивые слова, в противном случае они вряд ли затронули бы сердца и души советского народа. Читали эти доклады члены Политбюро и секретари ЦК КПСС. Однако авторами текстов выступали «писатели» — ответственные сотрудники аппарата ЦК КПСС. Именно на них возлагалась служебная задача или «удел выкручиваться, чтоб безжизненные формулы, уже негодные даже для школьных учебников, излагать как-то так, чтоб “выглядели”». И этой школьной меркой мы мерим тех, кто берется и кто пытается думать по-новому, овладевая сложнейшим материалом действительности. Много у них тумана, но в нем проглядывается новая жизнь. А в наших заготовках для теоретических выступлений Пономарева¹¹ — одна мертвечина. Пошлое надутое доктринерство, озабоченное лишь тем, чтобы не

¹¹ Б. Н. Пономарев, секретарь ЦК КПСС, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС и непосредственный начальник А. С. Черняева. (*Прим. Б. Ф.*)

оступиться в глазах начальства» [Черняев 2008: 11]. Цитируемый автор — Анатолий Сергеевич Черняев — свыше 20 лет работал в аппарате высшей власти в СССР. Его индивидуальная культура, воспитание с детства, образ жизни совсем не соответствовали тому, что ему приходилось делать по службе на протяжении большей части этого двадцатилетия. Будучи человеком чести, он правдиво и открыто пишет о том, что слышал, читал, в чем участвовал. Приведенные выше слова его дневника, на который я еще буду ссылаться как на важнейший для меня источник, написаны в 1972 г., в начале аппаратной карьеры.

Пять лет спустя Черняеву будет поручено реализовать одну тщеславную идею. Пономарев в приближении очередной великой даты (60-летие Октября, 1977 г.) захочет «пофигурять» на трибуне Большого Кремлевского дворца. Понимая, что с докладом будет выступать Первое лицо партии, он найдет для себя более скромную, но все же историческую роль продекларировать «Обращение к народам мира по случаю 60-летия Октября». Написать эту декларацию будет поручено А. С. Черняеву, который сделает в своем дневнике очень откровенную запись. С некоторыми сокращениями я приведу ее как свидетельство кризиса обсуждаемого нами официального дискурса. «В голове, — пишет в дневнике Черняев, — ничего нет. Новые идеи, если бы они и появились, “никто не позволит”. Не по чину оглашать их Пономареву, если доклад станет читать Брежнев. Осознавший себя полновластным хозяином страны, Брежнев был крайне чувствительным ко всем видам соперничества за власть, с которыми ему так или иначе приходилось сталкиваться! Что до красивых (свежих) слов, то и они на ум не идут, ибо тысячи раз уже произнесены, всем надоели, вызывают только раздражение или насмешку, в лучшем случае — полное безразличие» [Черняев 2008: 296]. Теперь контрапункт: «И все потому, что сказать-то нам миру нечего! Не хочет этот мир идти за нами, тем более — подражать. Вообще-то говоря, в этом нет ничего трагичного. Трагично то, что мы не хотим с этим смириться. Потому что слишком далеко зашли в своем хвастовстве и нескромности» [Черняев 2008: 296]. Хвастовство это десятилетиями нарастало в геометрической прогрессии (и с каждым новым «этапом» — от Сталина к Хрущеву и т. д. — приобретало прямо-таки космические размеры), а успехи — менее чем «арифметические». Далее следует аргумент, который стал известен стране разве что в перестроечные годы: «все социологические, принципиального значения рубежи, которые когда-либо намечались, не были достигнуты в срок или достигнуты с такими издержками и опозданием по сравнению с Западом, что их психологический эффект и в стране, и в мире обесценивался» [Черняев 2008: 296].

Но даже не в этом дело. Никто не станет отрицать, что царскую Россию мы смогли преобразить за какие-то полвека так, как ничто не в состоянии было бы изменить ее. «Однако почти иррациональное (вытекающее из логики великодержавности) стремление навязать себя другим, изобразить себя лучше всех, осчастливливать всех своим идеологическим, военным и политическим присутствием, и, в общем-то, бессмысленным, вмешательством, разрушило наш авторитет, омрачило наше великое революционное прошлое — предмет былого искреннего и возвышающего восхищения миллионов повсюду в мире... пусть даже в мифологическом, примитивном представлении» [Черняев 2008: 296]. «Наше хвастовство, — продолжает Черняев, — приобрело форму объективного закона. Просто так, мановением какого-нибудь приказа или решением ЦК его остановить нельзя. Ибо для этого придется сразу разоблачить кричащее несоответствие между тем, что делается и как делается, например, как строится БАМ, с тем, что показывают на TV, признать, что “отдельные недостатки” (других недостатков официальный дискурс не признавал. — *Б. Ф.*) касаются жизни десятков миллионов советских граждан, а массовые достижения затрагивают лишь очень небольшой слой» [Черняев 2008: 296].

(6) Не менее одиозной была атмосфера партийных собраний. Партийное собрание сотрудников аппарата ЦК КПСС (2000 человек, 1976 г.) — казалось бы, это самая партийная из всех партийных организаций, но вопреки такому представлению — сплошная показуха. До 30% каждого выступления — поклоны в адрес Генерального, 5–10% — в адрес докладчика, который, сколько бы раз на него ни ссылались, назывался полным титулом. Например, «Секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза товарищ Капитонов Иван Васильевич» [Черняев 2008: 218]. Нетрудно понять, почему уже через четверть часа громадный зал начинал гудеть, многие уткнулись в книжки, и все это вместо того, чтобы всерьез поговорить в своем партийном кругу об итогах последнего партийного съезда, или о своих заботах, или об общих и неотложных задачах! [Черняев 2008: 218]. Два года спустя тот же человек скажет про отчетно-выборную партийную конференции формально ведущей партийной организации страны: «сам доклад... состоял из общепропагандистского трепа о делах страны в общем и в целом» и «такие собрания, как и вся наша парторганизация при ЦК, никакого реального значения для дела не имеют» [Черняев 2008: 342].

Еще более ритуальным был дискурс в низовых партийных ячейках. Случилось так, что в конце 1984 г. я оказался на партийном учете в партий-

ной организации Ленинградской части Института этнографии АН СССР. Раз в месяц мы собирались на собрания, повестка дня которых была заранее придумана под мощным прессом партийности. В итоге возник устойчивый годовой (сезонный) ритм выдвижения вопросов для обсуждения на партийных собраниях. Сентябрьское собрание посвящалось задачам коммунистов-этнографов в связи с началом учебного года в одноликой сети партийного просвещения, октябрьское — дальнейшему развитию инициативы коммунистов в решении производственных задач, декабрьское — итогам научной деятельности коллектива института в истекающем году с обязательным докладом директора о задачах коллектива на ближайшую перспективу. В паузах зимой и летом заслушивались самоотчеты коммунистов (научная деятельность и общественная отзывчивость), в мае подводились итоги овладения теоретическим наследием партии в семинарах и кружках. Обязательным был промежуточный отчет партийного бюро о своей работе и выполнении наказов коммунистов. Раз или два раза в год перед нами выступали работники райкома КПСС с вечными и ритуальными призывами к повышению партийности при проведении научных исследований.

По неписаному и молчаливому соглашению собрание не должно было длиться больше часа. Доклады были ограниченными четвертью часа, выступления — пятью минутами. Информация партбюро о выполнении принятых им решений редко требовала более 5 минут. Но все демонстрировало «холостой ход» внутрипартийной работы и фактически было лишено реального значения для развития этнографической мысли, что по уставу КПСС следовало считать сверхцелью пребывания каждого из коммунистов этнографов в партийных рядах. Бессмысленность соблюдения квазипартийности, которую мы все при этом демонстрировали, осознавалась во внутренних диалогах коммунистов со своим «Я». Характерно, что вплоть до краха СССР никто из сотрудников не мог позволить себе игнорировать собрание. Пресс партийности удерживал его от такого поступка. В отличие от литературы, научный процесс не смог вплоть до перестроечного времени отсоединиться от влияния идеологии и политики. Строительство коммунизма ушло из многих литературных текстов, а в научных оно застряло. Поэтому в необходимых случаях пели осанну на партийных собраниях, а нормальные разговоры переносили в «узкий круг», в моем случае — в курилку под крышей Кунсткамеры.

Но это собрания вегетарианского времени, каким был период застоя. Необходимо напомнить, что иными были собрания в годы сталинского правления. «Ужасное и неотвратимое чувство собрания. Те же люди, которые вот только стояли в фойе, в буфете и беседовали между собой, смея-

лись и рассказывали байки и всякие случаи из жизни, которым можно было рассказать о своих бедах и успехах, и они торопились перебить тебя и рассказать о своих бедах и успехах, и они как-то понимали тебя, и сочувствовали, и ждали от тебя какого-то сочувствия, эти люди, которые сейчас звонили по служебным телефонам и говорили тихим, спокойным или возбужденным, страстно-сердитым, или грустным голосом, психи, умники, глупцы, педанты...

Звонок! Потушены и выброшены сигареты, и в какое-то мгновение произошло полное перерождение. Изменились не только выражения лиц, голоса, взгляды, силуэты, но как бы изменился весь состав крови, иное звучание нервов, иное чутье, настрой мыслей.

Это миг гипноза, когда все прошиты одной железной ниткой, нанизаны как на шампур, и ни вправо, ни влево, ни в детство, ни в старость, и нет тебя, нет именно твоей воли, твоих мук, сомнений, снов, призраков, твоей чести, совести, и ты, как муравей, как муха, как моль... Теперь уже никто не в состоянии тебя понять, выслушать, по-человечески войти в твое положение, теперь все были как заведенные куклы, как механические ваньки-встаньки, каждый был в отдельной клетке, и все клетки — в одной большой клетке. И это уже было не одиночное чувство страха, а общее коллективное, словно всех оплела одна паутина, связала, и все задыхались, бились, жужжали и затихали в этой паутине» [Ямпольский (б. г.)].

От таких собраний веяло зловещим смыслом, предвидеть который не мог даже В. Даль — тонкий знаток оттенков русской речи. «На них решались жизнь и смерть. Они заменили нам молитвы, исповеди, книги, цирк, оперетту. О, это было важнее и страшнее консилиума. Это было лобное место... Удивительное сочетание, когда все или почти все понимают, ощущают, если не умом, так сердцем, душой, что происходит что-то нелепое, нелогичное, бессмысленное, никому не нужное, лживое и несправедливое, с глупыми словами, словами-шелухой, словами-пиявками. И все-таки страхом спаяны, страхом, ставшим уже привычным, натурой, принимают это как должное, обязательное, само собой разумеющееся, и в голову не приходит никому встать, поднять руки, крикнуть: что вы делаете?» Так продолжил Бенедикт Сарнов Бориса Ямпольского [Сарнов 2005: 697–698]. Собирались лишь только потому, что нужно собраться, чтобы где-то там, в руководящей инстанции, поставили галочку. Однако внутри этого ставшего пустым ритуала всегда таилась угроза превращения в Голгофу, в место казни, сплошь и рядом не только гражданской, но и физической. «Главный смысл того, что происходило на тех собраниях, заключался в том, что люди переставали быть людьми» [Сарнов 2005: 714].

(7) Сейчас трудно установить, когда публичные выступления на официальных мероприятиях (собрания, митинги и т. п. мероприятия, организуемые партией с политическими целями) приобрели черты «казенности», запрограммированности, декоративности, стали средством сокрытия истинного положения вещей, живая речь уступила место прилюдному чтению вслух, системе не были нужны ораторы (по В. Далю: витии, речистые люди, краснословы, мастера говорить в людях, проповедники), система опиралась на чтецов, способных лишь на то, чтобы произносить правильные речи. Когда случилась эта метаморфоза? Когда естественные формы рефлексии общественной жизни с помощью живого языка уступили место «партийному мертвословью» (Б. Сарнов), на котором и полагалось говорить всем участникам официальных мероприятий?

Расскажу такой случай. В 1970-е гг. председателем Выборгского городского Совета стал бывший партработник П. Ладанов. По «разнарядке» он был избран депутатом Верховного Совета СССР. Вскоре ему было предложено выступить с трибуны этого органа. Когда председательствующий предоставил ему слово, случился конфуз. Он вышел на трибуну, что называется, «с пустыми руками». Речь осталась у соседа, секретаря обкома партии В. Толстикова, который решил «пролистать» текст своего коллеги. Далее — немая сцена. Ладанов молчал, растерянно смотрел в зал, не в силах понять случившееся! Молчал и зал от необычности ситуации. Растерялся от неожиданности и председатель заседания. Микрофон улавливал только его тяжелое дыхание. Не знаю, сколько мгновений длилась мертвая пауза. Выход нашел Толстиков. Он первым догадался, в чем дело, встал со своего места, подошел к трибуне и демонстративно вручил текст речи онемевшему депутату. Через несколько секунд депутат Ладанов уверенно начал читать свою заранее заготовленную речь.

(8) Управление словами официального языка считалось важным партийным делом, хотя этот процесс шел далеко не так, как хотелось управителям. Он отставал от жизни. Лишь XXVI (брежневский) съезд КПСС (февраль-март 1981 г.) отправил в отставку коммунизм как высшую цель исторического развития страны. И тем не менее на его «тихих проводах» присутствовал в качестве фаворита-избранника «развитой социализм». Концы в нашей передовой теории не сходились с концами. (Напомню слова из знаменитого романа В. Войновича про солдата Чонкина: «Дела в колхозе шли плохо. То есть не так, чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать — хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже».) Требовалось что-то изменить. Изменили: на пленуме ЦК КПСС в докладе

Секретаря ЦК было сказано: советское общество вступило в исторически длительный этап развитого социализма!

Первосоздателем идеи «развитого социализма» был ответственный сотрудник аппарата ЦК КПСС В. Печенев. Честный взгляд на реальную действительность требовал, по его мнению, признать, что уровень социально-экономического развития страны сильно завышается пропагандой и что к строительству лучезарного коммунистического будущего она подготовлена меньше, чем к переселению на планету Нептун. Однако покончить с враньем могущественная КПСС не могла в одночасье, тем более что буквально вчера утверждалось, что «зримые ростки коммунизма» торчат из всех щелей [Степанов 2000: 221].

Идея «развитого социализма» натолкнулась на непревиденные препятствия. Оппоненты внутри аппарата задавали грамматические вопросы: какой он — развитой или развитый? Договориться не удалось вплоть до дней его официальной кончины в 1991 г. Но это все мелочи. Главный спор возник между теми, кто разглядел в «новой» концепции призыв к отрезвлению и поиску правды, и теми, кто воспринял «парадигмальное новшество» как очередную попытку подкрасить мнимые достижения. Аплодисменты в адрес идеи были жидкими. Преобладали голоса недовольных («Оставили народ без будущего!»). Работа над идеей продолжалась, но движение в ее сторону никто не мог назвать «безоглядным». За подписью «Леонид Брежнев» появилась статья в журнале «Проблемы мира и социализма» (Прага): с одной стороны, концепция поднималась на щит, а с другой стороны, успокаивала «правоверных прихожан московской коммунистической церкви» насчет отречения КПСС от идеалов коммунизма. Следом появилась статья Печенева, где развитый социализм определялся как высшая полуфаза низшей фазы коммунизма!

Большевистская твердость Ю. Андропова положила конец спорам и неопределенности. В черновик статьи для журнала «Коммунист», которую он должен был подписать, были включены 10 собственноручно написанных им строк, согласно которым концепция развитого социализма отражала лучшие черты современного советского общества! Идея, овладевшая партийным начальством, превратилась наконец в материальную силу. Но это было иллюзией. Природа того вдохновения, которое двигало сочинителями главных политических произведений «римской империи времени упадка», была в реальности изменчивой. Когда до их ума доходило, что биться за высокое партийное слово — дело безнадежное, тогда оставалось только одно — тратить остатки нерастроченной творческой энергии писателей-невидимок на изобретение хохм с последующим их высочайшим утверж-

дением в качестве самоценной общественной мысли. «С какого-то времени меня охватило страстное желание придумать такой звонкий призыв, чтобы его высекли на камне, начертали на кумаче. В конце концов своего добился: вставленные мной в статью Черненко слова “чтобы лучше работать, надо лучше жить”, повисли над Аминьевским шоссе. В другой раз, создавая доклад того же Черненко перед юбилейным пленумом правления Союза писателей, мы с А. Н. Ермонским обогатили речь генсека «народным» присловьем: “куда ни кинь — умом раскинь”. В. Печенев, ставший к тому времени помощником генсека и отвечавший за подготовку доклада, учуял неладное и запросил у нас письменный источник “народной мудрости”. Еле отбились. А через пару дней от души потешались над “откликами” провинциальных писателей, дружно повествовавших о том, как много им дал доклад генсека вообще и в смысле приобщения к красотам народного языка в частности» [Степанов 2000: 224–225].

(9) Жизненное пространство, в котором находились люди, было окружено текстами, не несущими никакой полезной информации. «Слава КПСС», «Народ и партия — едины», «Слава советскому народу — народу победителю», «Пятилетке качества — рабочую гарантию», «Экономика должны быть экономной!»¹² Наряду с этим указателей, облегчавших ориентацию людей, не было. Писатель Войнович в своей книге «Антисоветский Советский Союз» рассказал историю, приключившуюся с ним и его женой при возвращении в Москву после отдыха на юге. В районе Армавира они обнаружили дорогу, которая им показалась правильной, и покатили по ней, надеясь, что первый же указатель направит их в сторону Ростова. Большой дорожный щит они обнаружили издалека. Это был огромный портрет Ленина. Приложив к кепке ладонь, Ленин ласково щурился, как бы одобряя выбранное направление. «Правильной дорогой идете, товарищи!» — гласили крупно начертанные слова. Удовлетворить нужду автомобилистов слова эти не смогли. Но все же они продолжили путь! Дорога

¹² Весь путь Романова (в конце своего правления избранного членом Политбюро ЦК КПСС) от особняка в пригороде Осиновая Роща, где он жил, до здания Смольного, где размещался обком КПСС, был декорирован лозунгами-растяжками оптимистического содержания. Например, выезжая на магистраль из своего «закоулка», он мог прочесть на кумаче: «Ленинскую политику КПСС одобряем!» Семантика этой фразы не оставляет сомнений, что ему был по душе данный *message*, как бы исторгавшийся из глубин народного сознания в виде благодарности партии и ему, Романову — одному из ее видных лидеров, за заботу о советском человеке и сохранение революционной образцовости Ленинграда.

по-прежнему оставалась пустынной, без бензоколонок и фанерных щитов с показателями сдачи колхозами яиц и молока государству. Только портреты Ленина все с той же усмешкой и все с теми же словами с раздражающей периодичностью возникали у края дороги. Продолав едва ли не сотню километров, путешественники догнали трактор и у водителя выяснили, что дорогой они следуют правильной, но вела она их в противоположную от Ростова сторону. Развернувшись, поехали обратно, и опять один за другим возникали, приближались и исчезали портреты Ленина — очень доброго на вид старичка, с огромным красным бантом на отвороте пиджака и в кепке... [цит. по: Сарнов 2005: 471].

(10) Вместо заключения. Самодовольная реплика Брежнева не кажется мне случайной. Она отражает все ту же великодержавность сознания, которое с помощью официального дискурса до последних дней советской истории отстаивало право всего советского и русского быть «лучше всех». Один забавный эпизод из истории гастролей столичного Малого театра будет для меня аргументом в пользу такого вывода. В 1978 г. театр привез в Ленинград постановку по пьесе И. Друцэ «Возвращение на круги своя» о Л. Н. Толстом. По ходу действия главный герой пьесы произносил толстовскую фразу: «Русский мужик — трус»... Это, к слову, был последний спектакль гастролей. Его давали в присутствии всей ленинградской партийной верхушки во главе с первым секретарем ленинградского обкома КПСС Г. Романовым после триумфальных для театра двух недель, сопровождавшихся «дифирамбами» прессы. Так вот, едва на сцене прозвучала упомянутая фраза, как в ложе, которую привычно занимали партийные руководители города, произошло некоторое движение. Правда, никто на это не обратил внимания. Но когда начался второй акт, Романов встал в своей «царской ложе» и бросил в ошеломленный зал и одновременно актерам на сцене: «Нет! Русский мужик не трус! Вот так!» Затем, гремя стульями, демонстративно покинул театр. Спектакль доиграли, но отменили все цветы и слова, все чествования прославленного коллектива по случаю завершения гастролей. Реплика Романова и его повеление «разобраться» символически отменяли и славную историю коллектива, и бесспорные заслуги перед русским и советским сценическим искусством и его зрителями. Остается добавить, что роль Толстого в этот день исполнял народный артист СССР, Герой Социалистического Труда Игорь Владимирович Ильинский.

Абсурдной назовет всю эту историю современный россиянин. И будет прав. Я смогу добавить к этим словам, что в конце 1970-х гг. всевластный официальный дискурс агонизировал, утрачивая свою, каза-

лось, вечную власть над людьми. Впрочем, здраво размышляя, можно прийти к выводу, что конечные (терминальные) моменты его социальной жизни диагностировались и в более ранние моменты отечественной истории. Изменения в период агонии, по утверждению медиков, обладают свойством обратимости. Официальный дискурс, оказавшись исторически бесперспективным, продолжал демонстрировать свою живучесть в конце советской эпохи.

Об этом же пишет дочь профессора Я. Л. Рапопорта, известного патологоанатома. Ожидая отца в день (декабрь 1989 г.) вскрытия тела академика А. Д. Сахарова, она бродила по коридорам кремлевской прокуратуры и наткнулась буквально на Доску почета этого учреждения, украшенную многочисленными грамотами. Одна из них гласила: «Почетная грамота дана коллективу Патологоанатомического отделения 1-й Больницы 4-го Главного управления Минздрава СССР за победу в социалистическом соревновании» Не в силах сдержать чувства она напишет: «Несчастливая страна!» [Рапопорт 2004: 57]. Торжествующий абсурд новояза никогда не знал конфуза и не отступал от канона. Поэтому убогие идеи продолжали глумиться над жизнью. Более того, они закреплялись в языке, который не мог сопротивляться. Живая жизнь подменялась тоской почета! [Сарнов 2005: 131]. Кажется, что Бенедикт Сарнов помог мне найти метафору для обозначения «гегемонического дискурса».

Глава 8. Власть и интеллигенция

(1) Правящий класс против доминирующего класса. Конфликты с интеллигенцией — одна из самых заметных черт (характеристик) хрущевского правления, которую в полной мере унаследует и брежневская эпоха. Конфликты останутся, однако непонимание интеллигенции и власти усилится до степени, которая приведет к взаимному отчуждению сторон. Наибольшие потери понесет при этом многострадальное советское общество. Ему придется терпеливо сносить безвременье застоя до поры, когда начнутся горбачевские реформы и интеллигенция выступит в роли социальной опоры радикальных преобразований социума. Ведь всякий раз, когда имел место союз интеллигенции с политическим руководством страны, она несла в себе потенциал нового эпохального поворота в культурных и институциональных устоях России.

Исторически интеллигенция возникла под влиянием Запада — его научных, литературных и политических течений, которые, начиная с Петра I, стимулировали появление образованного класса и формировали его сознание. Представители этой новой для России среды будут ассоциироваться с просветителями. Они обретут престиж в глазах государства как его советники, а в глазах народа как его поводыри («зрячие среди слепых», по словам диссидента Б. Шрагина, «грамотные и ученые среди необученных»). Для моего доклада имеет значение не столько просветительская сторона дела, сколько политическая. Власть, самодержавная, а затем и советская, будет постоянно констатировать особую роль интеллигентов как ее оппонентов, способных сопротивляться и противостоять правителям всех мастей и оттенков и их приспешникам, политическим элитам.

Здесь требуется уточнить термин «интеллигенция». В дореволюционное время под ним понимали (в собирательном значении) разумную, образованную, умственно и духовно развитую часть населения, которая жила идеями, будь то люди, которые порождали эти идеи, или публика, которая их воспринимала и разделяла. В данном случае слово «интеллигенция» было близко к понятию «служащий», но тогда сюда пришлось бы относить (что я и сделаю при дальнейшем развитии темы доклада) разнообразные и несхожие между собой элементы, такие как привилегированную номенклатурную бюрократию, различных специалистов управленческого и инженерного профиля, а также многочисленную армию конторских служащих во всех сферах административного и хозяйственного аппарата страны.

Обращает на себя внимание, что системообразующим фактором здесь было образование, оно вело к статусу и личному успеху. Здесь же на общем фоне выделялась творческая интеллигенция — писатели, художники, ученые, включая представителей социальных и гуманитарных наук, кто рисковал демонстрировать свою независимость, чтобы идентифицировать себя с социально активной частью населения и тем самым отделить себя от слуг и функционеров режима. В середине XX в. этот класс образованных людей называли «завсегдатаями библиотек», «дотошными книжочками» (в переводе с английского на русский). Но такие метафоры будут неточными, приблизительными, ибо, если говорить о советском обществе, «завсегдатаи» и «книжочка» выступали как социальная сила, побуждавшая к изменениям, они *de-facto* были средством руководства нацией и ее духовного наставничества с помощью веры, истины и убеждений, проникнутых интересами общества и целями его прогресса. Впору процитировать здесь А. Солженицына, написавшего о том, что

«советскую власть, вне всякого сомнения, могла бы взломать только литература». Как это ни парадоксально, и над этим стоит подумать отдельно, поколебать основы режима или пробить бреши в его железобетонных стенах смог писатель-одиночка, но не смогли бы ни военный переворот, ни политическая организация, ни линии забастовочных пикетов. Когда пришло время радикальных перестроечных реформ, то именно творческая интеллигенция (единственная из всех базовых элементов советского общества) проявила гражданскую заинтересованность и понимание, став одновременно силой, выступающей с требованием фундаментальных сдвигов и перемен.

Пока от Хрущева исходили импульсы реформ, литература в силу ли традиций или вечно присущего ей динамизма, оставалась источником положительной энергии этих преобразований. Когда же за оттепелью последовали очередные заморозки, литература нашла достойный ответ на смену оттепельного климата в стране. Энергия реформ конвертировалась в политическое разномыслие (инакомыслие). Иного не было дано! Иначе вести себя критически мыслящая интеллигенция, шестидесятники, не могли. Здесь им как субъектам (актерам), которые пытались внести свой вклад в изменения общественной жизни к лучшему, используя личный творческий потенциал и знания, пришлось натолкнуться на организованное сопротивление армии политических контролеров (партия, компетентные и административные органы, судебная система, прокуратура, цензура — всех не перечтешь!). Но еще важнее подчеркнуть содержание противостояния сторон в постсталинское время. Критически настроенная интеллигенция была стороной, выступавшей за реформы, партийная бюрократия и ее клеветы выступали за сохранение статус-кво и табуирование (запрещение) его изменений. Реформы — лучше сказать, радикальная модернизация — были водоразделом для противоборствующих сторон [Даниэлс 2011: 345].

В политическом отношении интеллигенция делилась на две неравноценные в количественном отношении части. Меньшую, обладавшую реальной властью, и гораздо большую, имевшую специализированные профессиональные функции. Это деление предложил Светозар Стоянович¹³. Он же обозначил первую часть как «правлящий класс» и вторую часть как «доминирующий класс», пояснив, что в данном случае его деление при-

¹³ Светозар Стоянович — сербский и югославский философ-марксист, один из представителей Школы праксиса, критик режима Слободана Милошевича. О предложенном им делении интеллигенции в обществе см.: [Stojanovic 1981].

ложимо в равной степени к капиталистическому и социалистическому обществу. В советском обществе правящим классом выступала партийная номенклатура, а роль доминирующего класса, осуществляющего неполитическую гегемонию ценностей, отводилась интеллигенции в ее различных ипостасях.

Между указанными частями (классами) существовала культурная и функциональная напряженность. Правящий класс, доставшийся советскому обществу в наследство от сталинских времен (номенклатура, отмеченная печатью своего рабоче-крестьянского происхождения), унаследовал культурный облик революционной квазиинтеллигенции, но остался глубоко враждебным к доминирующему классу образованных и творческих людей. Он же, правящий класс, олицетворял вновь ожившую старую русскую культуру, настроенную против «вестернизации» как традиции, которую поддерживал и провозглашал доминирующий класс интеллигенции.

Соперничество между правящим и доминирующим классами отличалось асимметричностью. Власти партии-государства, секретной полиции и цензуры интеллигенция могла противопоставить только свою незаменимость! Одновременно — по крайней мере, в теории — рассматривался вопрос: достигло ли советское общество той высокой стадии развития, когда доминирующий класс мог бы оформиться в правящий или заменить его собой до такой степени, чтобы страна получила режим более созвучный, релевантный ее истинным потребностям и ресурсам. Стоит еще раз повторить, что столь радикальная постановка вопроса зависела от не менее радикального изменения структуры советской власти, на которое Хрущев явно не решился, даже не сделал попытки к этому. Интеллигенция продолжала испытывать фатальную зависимость от политического руководства и переменчивой «розы ветров» внутрипартийных подкованных схваток и борьбы, сопровождавших весь период хрущевского и брежневского правления¹⁴.

¹⁴ Не способствовала реформам, за которые боролась интеллигенция, амбивалентность отношения к Сталину. С разной степенью настойчивости за нее выступали разные группы высшего партийного руководства страны (оговорюсь, что речь идет о тех членах Президиума ЦК КПСС, которые остались у партийного руля после разгрома «антипартийной группы» в 1957 г.). Младшие коллеги Хрущева (Л. Брежнев, Ф. Козлов, А. Косыгин, М. Сулов, родившиеся после 1900 г.), относились к числу тех, кто сознательно не порывал со Сталиным и сталинизмом. Здесь сказывалось их рабоче-крестьянское происхождение и узкопрофессиональное суррогатное образование, которое они получили (см. главы 5 и 6 наст. доклада). Они стали нео-

Естественно, что против окопавшейся во власти номенклатуры и послушных ей политической полиции и цензуры интеллигенция была беспомощна и не могла оказать сопротивления. Но тем, кто чувствовал в себе силы, был смелее и независимее остальных, оставалось только прибегнуть к своего рода интеллектуальной партизанской войне, по образному выражению Даниэlsa. Именно здесь находится отправная точка начала диссидентского движения в совокупности всех разнообразных течений и настроений, которыми был отмечен общественно-политический ландшафт страны после прихода Брежнева к власти.

Неосталинистский заговор против Хрущева в октябре 1964 г. быстро привел к развязке. Поначалу интеллигенция не разглядела мрачных последствий в смещении партийного лидера, не почувствовала, что событие знаменует собой фундаментальный отказ от «оттепели» в интеллектуальной жизни страны. Моментом прояснения этой истины стал арест 8 сентября 1965 г. двух молодых тогда, одаренных творческим воображением писателей — Андрея Синявского и Юлия Даниэlsa. Их обвинили в публикации антисоветских произведений за рубежом, на Западе, а также в «клевете на советский строй». Суд над ними и приговор символизировали для всего мира победу неосталинизма над советской интеллектуальной жизнью, обозначая одновременно репрессивные условия, в которых предстояло существовать всем гражданам СССР. Для интеллигенции эпоха, символом которой был XX съезд, завершилась, и началась эпоха полуподпольного диссидентства.

Приходится повторить, что отношения Брежнева и интеллигенции были весьма противоречивы весь период его правления. Парадоксально, но поле этой борьбы являлось одновременно полем, куда бюрократия посеяла зерна собственной гибели. А пока бюрократы (партократы и чекисты) назначались начальниками учреждений, призванными руководить творческой деятельностью. В этой роли они «давили» интеллигентов, манипулируя средствами цензуры, отказами публиковать произведения, в конце концов судом, арестом, санкциями, что положило конец оттепельной свободе конца 1950-х — начала 1960-х. Иносказанием этих преследований была официальная позиция: апелляция к принципу защиты партий-

сталинистскими представителями «плебейской революции» (по терминологии М. Реймана, см. главу 3 наст. доклада), готовым хором, вторившим антиинтеллектуализму Сталина. В других выражениях: они не были заинтересованы в изменении условий и правил политической игры и, скорее, предвкушали, как смогут долгие годы, постепенно старея, оставаться на своих постах.

ности искусства, более широко — классового подхода ко всему, что делается и совершается в советской культуре. Ничего другого с партийного амвона услышать было нельзя.

(2) Диссиденты — протестная среда вне системы. На другом полюсе режим Брежнева означал конец иллюзий. Как уже упоминалось, право так думать пришло вместе с судом над Синявским и Даниэлем (арест в сентябре 1965 г., суд в январе-феврале 1966 г. и последовавшее затем тюремное заключение). Именно в эпоху Брежнева социалистический реализм был заменен по большей части критическим¹⁵. В конце злополучного периода брежневского правления обе стороны накопили «стратегические» запасы неприязни. Мир обновлялся, буквоедское политическое вмешательство партии становилось абсурдным. Сам директивный язык, который отдельные индивиды продолжали считать революционным, терял свою убедительность, тем более что его носители сходили в могилу один за другим на глазах нации¹⁶. Старая гвардия партийцев буквально вязла в безверии, коррупции и страхе перед переменами. Изменилась и интеллигенция. Видя, как гаснут надежды на перемены, ее представители включились в борьбу за материальный успех или, попросту говоря, за выживание.

Набирающим силу контрапунктом стала НТР. На нее молились вожди, она явилась догматом веры, притом что ее последствия в общесоюзных изданиях никогда по-настоящему не анализировались. В монструозный академический институт в Ленинграде (Институт социально-экономических проблем АН СССР) были слиты сотни ученых, но, что делать в условиях шестивия НТР по планете, осталось невыясненным. Наиболее массовые процессы — будь то экспоненциальный рост общего числа ученых и специалистов, желание молодежи обрести статус свободных интеллектуалов, даже некоторые открытия, которые повышали авторитет советской науки, снижая этим зависимость от достижений западной науки, — суть процессы, мало зависевшие от усилий властей. Однако к концу брежневского периода и эти процессы начали угасать, поскольку верх едва ли не религиозно считал приоритетным делом заботу о рабо-

¹⁵ Писателям, благоразумно не выходившим за пределы предписываемых и в этом случае границ, даже удавалось повлиять на политику. Например, отказ от поворота восточносибирских рек в Среднюю Азию — заслуга литераторов страны, но это было, скорее, исключением, чем правилом.

¹⁶ См. главу 7 наст. доклада.

чем классе и потому не заботился о росте заработной платы интеллигенции. Последняя была всего на 50% выше средней заработной платы работников физического труда (для научных сотрудников) и на 10% (для инженеров). Деморализация «прослойки» — естественный результат этой близорукой политики. Даниэлс пишет и о других помехах творческой деятельности в советской науке. В интеллектуальную среду проникла чиновная культура. Мания секретности сдерживала обмен идеями. Эти факторы мешали росту влияния интеллигенции. В итоге научная и техническая интеллигенция не стала в советском обществе брежневской поры его ведущей социальной силой, техноструктурой в гэлбрайтском смысле (см. выше), то есть высокоорганизованным интеллектом, заменяющим повсюду землю и капитал в качестве решающего фактора экономической жизни [Даниэлс 2011: 366]. Предоставить интеллигенции свободу власть была не способна!

Политическая напряженность и культурная несовместимость бюрократии и интеллигенции — причины появления диссидентского движения. Оно возникает после падения Хрущева и тем самым завершает легенду «оттепели». Первоначально это было движение гуманитарной и технической интеллигенции (только 6% рабочих насчитал А. Амальрик в этом слое в своей книге «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года»). Его ядро составили молодые люди с заметной долей тех, чьи родители стали жертвами сталинских репрессий. Правда, народную поддержку получили лишь те из диссидентских организаций, что носили религиозный или национальный характер (Прибалтика, татары). Диссидентство отражало неразрешенность противоречия между меняющимся обществом и застывшей политической структурой, оно поднялось на почве «прослойки», которую государство наделило некоторыми привилегиями и в которой государство нуждалось. Однако диссидентство отплатило государству растущей независимостью своего мышления, разномыслием и инакомыслием. Назову основные черты этого движения, поскольку они являются ключом к пониманию диссидентского «Я» (личности).

Начну со сходства основных частей биографий многих диссидентов: протестная деятельность — репрессии — специфическое поведение в неволе. Демонстрировать публично линию своей деятельности как героический пример для других многим диссидентам казалось делом нескромным и сомнительным [Даниэль 1998: 120] В обобщенном виде культура диссидентства — культура поступка, а не нормативного текста (ведь движение объединяло почвенников, западников, коммунистов, монархистов, националистов, безыдейных художников). Модель, которую формировало

это движение, была первой несовершенной и грубой моделью гражданского общества.

Диссиденты не выступали в роли организованной политической оппозиции, которая имела программу, план действий, подпольные структуры. Диссидентство являлось формой открытой защиты гражданских прав, которые советская конституция гарантировала жителям страны, и прав человека, которые провозгласила Всеобщая декларация прав человека ООН (1948 г.), ратифицированная СССР.

Диссидентов было немного, что лишний раз указывало на трудности преодоления атмосферы государственного страха, в которой граждане прожили не одно десятилетие. Одновременно диссидентство свидетельствовало, что действия государства — нарушителя прав и свобод — могут быть оспорены. Человеческий дух побеждал всемогущее государство [Геллер, Некрич 1995: 206]. Этнос диссидентов восходил к внутренней потребности независимого от власти существования. Диссиденты искали свои корни в дореволюционной России, прежде всего в среде радикалов, которые тогда оппонировали государству и выступали в роли моральных и социальных прорицателей. Мораль диссидентов опиралась на новый тип солидарности, на готовность к риску — доминанту мироощущения людей, вовлеченных в процесс публичного выражения (и правовой защиты) общественного недовольства [Zubok 2009: 300].

И еще одно важное обстоятельство: диссиденты как носители идей русской интеллигенции со всей неизбежностью должны были вступать в переговоры с государством или искать другие способы влияния на бюрократию с целью добиться нужных изменений. Не ссориться с властью означало одновременно, что следует всегда стоять от нее в стороне. Это была единственная альтернатива революционному насилию и подпольной политической активности¹⁷.

Определить вектор диссидентской субъективности помогают дневниковые записи Черняева — ответственного работника ЦК КПСС. «Это среда — вне системы. <...> Одно время одной частью интеллигенции это отчуждение от власти и всей так называемой общественной жизни выражалось в ностальгии по нашему революционному первородству, по революционной чистоте юности целых поколений. <...> Но эта волна прошла.

¹⁷ Диссиденты не ставили своей целью свергнуть режим. Сахаров мечтал объяснить Брежневу, зачем они борются. Однако переговоры не состоялись, власти боялись, что стенограмму прочтет Запад и статус Сахарова в итоге поднимется [Zubok 2009: 301].

Устали и поняли, что это всего лишь бессильная ностальгия по невозвратному прошлому. И какая-то часть отпочковалась в полное отрицание нашего советского прошлого — в несколько солженицынском духе: “все, мол, было с самого начала неправильно и не туда”. Разумеется, без его, Солженицына, классовой ненависти к советскому... Это скорее — отрешенное “над схваткой”, полупрезрительное отрицание и способности, и желания современной власти вести общество на уровне, его достойном» [Черняев 2008: 88].

(3) Сильная субъективность как особый *modus vivendi* (особый способ жить). К сильной эндогенной субъективности я хотел бы привлечь внимание исходя из того, что ее носителями являются индивиды, которые умеют ориентироваться в изменяющихся социальных условиях и ранее других отвечать на самые сложные вызовы времени. Именно им первым становилось тесно в прежних оболочках (устоявшиеся представления и стереотипы), но они находили путь избавиться от них, реагируя на эти вызовы [Быков 2013: 89]. С другими согражданами их объединяли переживания разных периодов советской истории, опирающиеся на жестокую правду и трагедии. Но, в отличие от массы соотечественников, они представляли ту часть этой массы, которая в принципе не соглашалась с устоями режима, хотя и была вполне лояльной ему. Поэтому я считаю носителей сильной субъективности фигурами притягательными, понимающими не только необходимость защиты и отстаивания собственных позиций и точек зрения, но и трудности восприятия своей миссии социальной средой.

Российский историк Я. Лурье заметил, что часть советских людей становилась «белыми воронами» в окружавшей их среде — провинциалами среди столичных представителей классических наук, «буржуазными спецами среди адептов исторического материализма, безродными космополитами среди патриотов — ученых 1940-х гг.» [Лурье 2004: 14]. Правда, у носителей сознания (ментальности) «белых ворон» был своеобразный *modus vivendi*. Они не приходили в ужас от эгалитарных последствий «социального переворота», совершенного Октябрьской революцией, но подлинной опасностью считали «крайнее усиление общественных уз, все яснее проступавший облик грозного Левиафана» [Лурье 2004: 100].

«Белыми воронами» были и диссиденты, о которых уже шла речь. Слово «диссидент» пришло к нам с Запада в 1960-е как обозначение движения против тоталитарного режима в социалистических странах. В ежегодные издания «Политического словаря» оно впервые вошло в 1978 г.

Империалистическая пропаганда, говорилось там, обозначает этим термином «отдельных «отщепенцев», которые становятся на путь антисоветской деятельности, нарушают законы и, не имея опоры внутри страны, обращаются за поддержкой за границу, к империалистическим подрывным (разведывательным и пропагандистским) центрам. Чтобы убедить читателей в своей правоте, автор словарной статьи решил прибегнуть к авторитету Брежнева, который, предавая анафеме диссидентов в одной из своих речей, привычно ссылаясь на высший авторитет — на «наш народ», требующий, «чтобы с такими, с позволения сказать, деятелями обращались как с противниками социализма... пособниками, а то и агентами империализма. Естественно, что мы принимаем, и будем принимать в отношении них меры, предусмотренные законом». В своем профессиональном ключе высказался и Андропов, один из создателей карательной психиатрии — принудительного лечения разно- и инакомыслящих. Для него диссидентами были люди, побуждаемые политическими идейными заблуждениями, религиозным фанатизмом, национальными вывихами, личными обидами и неудачами, наконец в ряде случаев психической неустойчивостью [Геллер, Некрич 1995: 243–244].

П. Сорокин в своей классической работе «Современное состояние России» писал о том, что испепеляющие годы российской истории (1914–1922 гг.) были временем, когда убивали «лучшие элементы» и плодили «худшие». В итоге погибли наиболее здоровые биологически, наиболее способные энергетически, наиболее волевые, одаренные, морально и умственно развитые психологически. Здесь Сорокин подводит нас к нетрадиционному представлению, сочувствуя и сострадаая тем, кого называет «лучшими элементами» и на чью долю в эпоху социальных катаклизмов и напряжений приходится обязанность «сжигать себя» во имя сохранения народа и его будущего [Сорокин 1992: 188]. Наше внимание должен привлечь тот факт, что существует неравенство затрат («амортизация») духовных и умственных потенциалов и, как следствие отрицательная селекция (отбор худших из худших), которая дает нам тех, кто и ныне рвется к власти в своем неумном желании стать «творцами истории».

Этот тезис Сорокина находит свое подтверждение в истории литературы нравственного сопротивления советскому режиму в хрущевские и брежневские времена. Вот примеры износа людей, невозможных потерь интеллектуальной и творческой энергии писателей, объединяемых этим понятием. В случае Б. Пастернака — это преждевременная смерть под влиянием кампании публичного осуждения, травли и преследований поэта. В случае В. Гроссмана — это десятилетия сложнейших пережива-

ний, вызванных изнуряющей мозг борьбой за естественное право на выражение своей правды о Великой Отечественной, которую он изложил в бессмертном романе «Жизнь и судьба». «Разорвав с официальной идеологией, писатель В. Некрасов уже не мог вернуться в обычный, затхловатый и несвободный советский мир, и тогда из него получился русский эмигрант, самая популярная фигура из всех наших национальных порождений» [Быков 2013: 89]¹⁸. Фигура трагическая, если иметь в виду мучительную ностальгию, взвесить истинную душевную тяжесть которой дано только субъектам, выдавленным в эмиграцию.

Носителем сильной субъективности по справедливости должен быть назван поэт Иосиф Бродский, творчество которого было направлено на пробуждение и развитие самости человеческой природы. Именно для него человек всегда был сингулярным (единственным в своем роде). «Если искусство чему-то и учит (и художника — в первую очередь), то именно частности человеческого существования» [Бродский 1987]. Являясь *de-facto*, по мнению поэта, наиболее буквальной формой частного предпринимательства, искусство вольно или невольно поощряет в человеке именно его ощущение индивидуальности, уникальности, отдельности — превращая его из общественного животного в личность». При этом сама личность должна обладать «лица необщим выраженьем», поскольку в приобретении этого необщего выражения и состоит смысл бытия индивида. Отсюда и высокая цель: прожить собственную, а не навязанную или предписанную извне жизнь, обойдясь без повторения чужой внешности, без тавтологии, без клише, без преклонения перед властью исторической необходимости и ее носителями. Возможно, эти мысли поэта могут быть еще одной формулой сильной субъективности.

Не могу пройти мимо еще одного имени — поэта Булата Окуджавы, который в 1970-е гг. приобрел особый, едва ли не уникальный статус в советском обществе. «Борцы боролись, садились, спивались; конформисты прикармливались. Он же отвоевал себе единственную в своем роде нишу неучастника, современника, дистанцировавшегося от современно-

¹⁸ В заметках Д. Быкова о В. Некрасове содержится еще один очень важный для нашей темы тезис о влиянии личности и творчества писателя — носителя эндогенной субъективности — на окружающих. Некрасов верил в страну и ее скрытые (дремлющие в глубинах народного сознания) силы. «И как знать, вдруг его появление здесь могло бы что-то пустить по другому пути. Ведь около Некрасова хотелось быть лучше. Ведь около него, пережившего все и выдержавшего все, было не страшно, как всегда бывало спокойно и весело около настоящих фронтовиков» [Быков 2013: 92].

сти; он не бежит от вопросов, отвечает на них кратко и прямо, и то, что он пишет, касается самой что ни на есть реальности; но говорить прямо ему незачем, поскольку он воюет не только с современностью, а со всем русским имперским архетипом, во все времена бессмысленно и беспощадно давившим живого человека. Можно сказать, что Окуджава был одним из немногих, кому удалось осуществить призыв Солженицына “Жить не по лжи”» [Быков 2009: 641].

(4) Наступление на оппозицию. В условиях застоя главной задачей *системы* становится сохранение стабильности, а главным источником опасности, на который она не может не реагировать, собственный гражданин, осмелившийся мыслить непредуказанным образом. «Система начинает пожирать то, что при нормальном развитии было бы главным ресурсом ее процветания — лояльно настроенных, патриотичных, честных и талантливых людей, для которых сотрудничество с властью скоро становится позорным и несовместимым» [Быков 2009: 621]. Как сказал Окуджава в своем восьмистишье, адресованном Борису Слуцкому:

Вселенский опыт говорит,
что погибают царства,
не оттого, что тяжек быт
или страшны мытарства.
А погибают оттого
(и тем больней, чем дольше),
Что люди царства своего
Не уважают больше.

В такой системе у власти остается едва ли не единственная функция — репрессивная. Вот почему, резюмирует Д. Быков, гонения на интеллигенцию в 1970-е гг. следует считать предопределенными. Наиболее влиятельных и потому наиболее опасных для системы мыслителей и писателей подвергли экстремальному испытанию, чтобы они сами определили свое место в дальнейшей советской истории. Этот процесс оформлялся постепенно, в первой половине десятилетия, но он разделил всю советскую культуру (читай: всю интеллигенцию) на три основных слоя.

Слой первый — непримиримые. Это были те, кого не могло удовлетворить личное спасение, их амбиции были посерьезнее, такие люди покушались на систему в целом. Фигуры слишком резонансные, известные всему миру, подвергались высылке или внутренней изоляции (Солжени-

цын был принудительно посажен в самолет и отправлен на Запад, Сахарова под надзором КГБ сослали в Горький). Остальные из числа «непримиримых» (без разницы для западников и представителей «русской партии») оказались в лагерях или в психушках. Было их не так уж много, но они составляли ядро движения. На себя они давно махнули рукой и приготовились к худшему. Они же могли быть предметом торга с Западом (В. Буковского обменяли на Л. Корвалана — заточенного в тюрьму лидера чилийских коммунистов) или живым уроком для остальных (П. Якир и В. Красин были взяты под стражу и шантажом склонены к публичному отречению от диссидентства).

Слой второй — отъехавшие «за бугор». Здесь тоже не обошлось без дифференциации. А. Галичу, И. Бродскому, Н. Коржавину предложили альтернативу — отъезд или арест. Других выдавили мягко, дали понять, что система не будет к ним приноравливаться и частные мнения граждан ее отныне мало волнуют. Быков верно пишет о том, что система «уже и обходилась почти без народа, предоставленного самому себе и работавшему на самообеспечение... преданность ей тоже не требовалась — блюдите видимость, да и бог с вами» [Быков 2009: 638]. После того как разрешили выезд советских евреев в Израиль, терминология стала простой: кто не хочет жить здесь — пусть не отравляет воздух оставшимся!

Третий слой был самым многочисленным (те, кто не хотел садиться и при этом кого по разным мотивам и причинам не устраивал отъезд). Судьба их была незавидной, полной неприятностями: полуподпольное существование, пристальное наблюдение, ущемление в гражданских и творческих правах, лишение профессиональных перспектив, публичные разносы.

Диссидентский остров непослушания опирался на поддержку Запада. И пока политика разрядки была жива, генеральное наступление на движение откладывалось. Началом его следует считать высылку Сахарова в Горький. Андропов назвал его «врагом номер один внутри страны». Вопрос о Сахарове был поставлен на Политбюро ЦК КПСС 26 декабря 1979 г. 3 января 1980 г. было решено не судить академика, а ограничиться внесудебной высылкой. Наступало время решающих драматических столкновений с властью, время голодовок и безысходности [Шубин 2008: 277]. По данным Л. Алексеевой, в 1979–1981 гг. было арестовано около 500 человек, из них в Москве — 34 человека. По данным КГБ, только в 1980 г. чекисты арестовали 433 человека [Шубин 2008: 278]. Удара 1980–1981 гг. хватило, чтобы дезорганизовать диссидентскую инфраструктуру. После первых ударов наступление КГБ продолжалось. В 1983 г. по поли-

тическим статьям осудили 163 человека. В 1984 г. в СССР, впервые после 1968 г., не осталось вне колючей проволоки ни одного из активно действующих диссидентов. Последним бастионом оппозиции оставался академик Сахаров.

Кризис диссидентского движения был вызван не только физическим разрушением оппозиционных структур. Л. Алексеева писала о данной проблеме: «Поскольку мирным путем, единственно признаваемым правозащитниками, эти проблемы можно решить только в сотрудничестве с властями, их отказ от диалога вызвал в начале 80-х гг. кризис правозащитного движения, усугубившийся из-за резкого усиления репрессий — активность его снизилась, число участников, возможно, уменьшилось. Однако это не кризис цели, которая не обесценена в глазах участников движения и далеко за его пределами, и не кризис методов» [Шубин 2008: 289]. Цель, конечно, не потеряла свою привлекательность, чего нельзя сказать о старой правозащитной тактике, ее кризис привел к угасанию диссидентского движения даже тогда, когда возможности для легальной деятельности стали расширяться во второй половине 80-х гг.

(5) Фронт оппозиционных идеологий — наследие диссидентов.

Первые годы диссидентского движения, совпавшие с правлением Брежнева, отмечены наличием общих целей и ощущением единства и сплоченности в борьбе за политические свободы. Но в дальнейшем под влиянием преследований и свободных условий эмиграции в этой среде возникли разногласия. Так или иначе, но они ассоциировались с тенденциями оппозиционных по своей природе настроений и взглядов, которые с конца 1960-х гг. олицетворяли фигуры Солженицына, Сахарова и Роя Медведева.

Правый фланг, его представлял Александр Солженицын, опирался на обращение к традиционной русской культуре и православию синхронно с авторитарными и антизападническими тенденциями, которые очень скоро отвратили от него большинство людей в той стране, которая дала ему приют и политическое убежище, — в США! Можно сказать, что его философия весьма недалеко ушла от русских славянофилов XIX в.

Центр был представлен Андреем Сахаровым. Защита им демократии и прав человека привела его в лагерь западного либерализма, схожего с кругом идей русских западников все того же XIX в.

На левом фланге был Рой Медведев, сознательно принимавший постулаты революции, но стремившийся реформировать режим изнутри. Его мировоззрение было близким к тому, что было тогда принято считать и называть социализмом с человеческим лицом.

Но этот фронт против советского политического режима оказался разрушенным — так далеки были эти точки зрения одна от другой, вызывая непрекращающиеся и бескомпромиссные споры. В конце брежневского времени разрозненный фронт оппозиционеров был поколеблен тылом (если опираться на военную терминологию), а именно: воздействием ультраправых великорусских шовинистических идей. Это произошло не без вмешательства и стараний бюрократических структур высшего уровня, где, кстати, в застойные времена не наблюдалось сакрального единства взглядов. Русское движение вышло на поверхность уже в 1985 г. в виде организации «Память», формально ориентированной на охрану культурных и архитектурных памятников прошлого, а на деле выступавшей под знаменами конспирологии, ультранационализма и антисемитизма, в итоге — варианта русского фашизма. Опять-таки, пристально всматриваясь в туманную даль прошедшего времени, в XIX столетии в бульоне ультраправых великорусских шовинистических идей нетрудно обнаружить ветви консервативного славянофильства, представленного такой фигурой, как Ф. М. Достоевский [Даниэлс 2011: 416].

Было бы важно подчеркнуть, что эта конфигурация идеологий (фронт с центром, флангами и тылом) совпадает во многом с тезисом Д. Травина о том, что советские граждане, сталкиваясь с переменами, вынуждены были так или иначе осмысливать происходящее и формировать свое мнение о том, как жить дальше. Мнение это формировалось на основе четырех основных блоков идей, существовавших в тот момент в СССР: ортодоксально-коммунистических, реформистско-социалистических, рыночно-капиталистических и национал-патриотических (имперских) [Травин 2016: 4–18].

Принято считать, что в начале XIX в. русская мысль устремилась по двум магистральным направлениям. От чаадаевских писем взяли свое начало западничество и славянофильство — «два рецепта спасения страны», «две веры» (Б. Хазанов), они же два взаимно исключаящих варианта русской идеи. Уже тогда новая элита озаботилась спасением страны, остро чувствуя, что со страной происходит нечто неладное. 100 с лишним лет спустя уже не две, а четыре веры столкнули четыре стана советской интеллигенции, и это столкновение, казавшееся сначала незаметным, по сей день поляризует интеллектуальный, мыслящий слой страны. «Уходят годы, и сменяются поколения, но темы не меняются, Россия и Запад, народ и Бог» [Хазанов 1991: 636].

Развивать эти сюжеты не входит в мои цели, но стремление преодолеть рыхлое, нестабильное устройство жизни побуждало советских лю-

дей, равно как и нынешних россиян, конструировать образы желаемого будущего, «коктейли» из реальных, идеальных и мифологизированных представлений о дореволюционной России, Советском Союзе и постсоветской России. Источник этих представлений — сохраняющие свою силу оппозиционные идеологии брежневского времени. Поодиночке или в «соавторстве» они продолжают порождать «мистические сущности» вроде «Большой идеи России», которая, по мысли ее проектантов (самой идеи еще нет, есть только представление о том, какой она должна стать), положит начало чуть ли не новой формации, а то и цивилизации. Мне запомнились публицистические очерки Р. Гальцевой в журнале «Новый мир», где она мастерски реконструировала и представила чаемую Россию, какой она видится сквозь призму этой «Большой идеи» [Гальцева 2002]. Уготовано быть ей постиндустриальной, основанной на некой самодеятельной морали, а также (полностью в духе М. Вебера) связанной с самодисциплиной, с напряженным трудом и концентрацией сил. Еще одна опора — фундаменталистский потенциал Православия, который теперь уже не кажется исчерпанным, а характеризуется как «праздничное мирозерцание», сумевшее донести до нас «животворную энергетику языческого эроса». Да и роль православия теперь иная — служить не только благим антиподом для всего остального христианства, но также исходным образцом, эталоном для альтернативного западному русскому экономического порядка на основе варианта «монастырского социализма» с его отрицанием частной собственности и отказом от всякого имущества. Конечно, эта модель по меньшей мере странная, весьма далекая от реальности, но зато «своя», русская.

Заключение

В условиях цензуры и политических преследований движение диссидентов так и не смогло достучаться до масс советского населения настолько, чтобы рассчитывать на симпатии народа. Не принадлежавшие к интеллигенции россияне (они же — советские граждане) порой отвергали диссидентов, считая их антипатриотами, жалобщиками, а то и замаскированными евреями. И потому, пока Россия переживала противостояние культур плебеев и интеллектуалов, власть (партократия) продолжала навязывать народу исконное свое — авторитаризм и ксенофобию [Даниэлс

2011: 416]. Прослойка (речь об интеллигенции, которая могла изменить ситуацию к лучшему) либо молчала, страдая от деморализации, либо впадала в эмигрантство. Страна в итоге терпела бедствие от прямой и косвенной утраты талантливых творческих людей. Утечка мозгов и молчание — вот признаки бедственного состояния советского народа, новой исторической общности (как его величали партийные идеологи) в конце эпохи застоя.

В эту же эпоху вышло новое поколение, начавшее «жить без бунта и борьбы за дело»¹⁹. Семидесятнугые, как назовет себя и своих многочисленных сверстников Д. Травин вследствие особенностей времени вхождения в жизнь страны, «получились» не верящими в коммунизм, не знающими великой мечты, не слишком надеющимися пережить брежневскую эпоху, но и не размышляющими о том, придет ли этой системе конец. Зато весьма практичными, стремящимися извлечь максимум возможного из того, что есть, поскольку бессмысленно откладывать жизнь на потом. Ведь «потом» будет такое же, как «сейчас» [Травин 2011: 4]²⁰.

Более подробно внутренний мир поколения раскроет В. Зубок. Начать с того, что это поколение считало «Капитал» Маркса талмудом, нерелевантным интересам личности. Частное и публичное не должны были смешиваться, ибо реальная жизнь и лозунги социалистического государства противоречили друг другу настолько, что сама возможность их сближения считалась признаком безнадежной наивности. Правда, новые когорты в своей массе не хотели быть ни правоверными сторонниками режима, ни злыми циниками. Ирония и сарказм (как органическая часть мирного советского конформизма) функционировали в их среде, отражая сознательное бегство (отстранение) в равной мере от стагнирующего настоящего и суррогатов недавнего, но исчезнувшего социального оптимизма и идеализма²¹. Модой среди интеллектуалов 1970-х гг. стало рассматривать ше-

¹⁹ Так определил это поколение историк В. Зубок.

²⁰ Синхронно со временем появления поколения семидесятых его опознал А. Черняев, сделавший еще в 1973 г. такую запись в своем дневнике: «...молодежь прагматична, деловита. Готовит из себя специалистов <...> работают и живут, ни о чем не думая. <...> И пожалуй, не молодежь сейчас — “носитель потребности в идеях”. Скорее, “поколение комбатов”, людей, вышедших из войны и торопящихся сделать все, что могут, чтобы не допустить <...> утечки духовности» [Черняев 2008: 46].

²¹ В другом месте своей книги В. Зубок заметит, что даже трагедии советского прошлого стали для части поколения 1970-х не более чем историей, которую теперь не надо было учить и знать [Zubok 2009: 321].

стидесятников (левых и диссидентов) как наивных Дон Кихотов. Все «пылкое» и героическое в брежневские времена, если оно и возникало, становилось неуместным и устарелым на фоне абсурда и скуки застоя. Отчуждение от этих родовых признаков эпохи было ядром идентичности нового поколения [Zubok 2009: 319].

Роль, которую сыграет это поколение на закате советской истории, — тема, ожидающая своего исследователя.

Литература

Андреев 2012 — *Андреев Д. А.* Пролетаризация высшей школы. Новый студент как инструмент образовательной политики // Расписание перемен. Очерки истории образовательной и научной политики в Российской империи — СССР (конец 1880-х — 1930-е годы). М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 494–522.

Берлявский 2012 — *Берлявский Л. Г.* Роль и функции Наркомпроса // Расписание перемен. Очерки истории образовательной и научной политики в Российской империи — СССР (конец 1880-х — 1930-е годы). М.: НЛО, 2012. С. 380–403.

Бродский 1987 — *Бродский И.* Нобелевская лекция, 1987 (<http://lib.ru/Brodskij/lect.txt>).

Быков 2009 — *Быков Д.* Булаг Окуджава. М.: Молодая гвардия, 2009.

Быков 2013 — *Быков Д.* Виктор Некрасов // Дилетант. 2013. № 11 (23). С. 88–92.

Вернадский 1992 — *Вернадский В. И.* Дневник 1939 года // Дружба народов. 1992. № 11–12. С. 5–44.

Гальцева 2002 — *Гальцева Р.* Тяжба о России. На рубеже столетий // Новый мир. 2002. № 8 (http://magazines.rus.ru/novyi_mir/2002/8/gal.html).

Геллер, Некрич 1995 — *Геллер М., Некрич А.* Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней в трех книгах. Книга вторая. М.: МИК, 1995.

Герман 2006 — *Герман М.* Сложное прошедшее. СПб.: Печатный двор, 2006.

Грэхэм 2000 — *Грэхэм Л.* Призрак казенного инженера: технология и падение Советского Союза. СПб.: Европейский дом, 2000.

Гудков 1999 — *Гудков Л.* Образованные сообщества в России: социологические подступы к теме // Неприкосновенный запас. 1999. № 1 (3). С. 23–31.

Гэлбрайт 1969 — *Гэлбрайт Дж.* Новое индустриальное общество. М.: Прогресс, 1969.

Даль 1989 — *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка в четырех томах. Том 2. М.: Русский язык, 1989.

Даниэль 1998 — *Даниэль А. Ю.* Диссидентство: культура, ускользающая от определений // Россия/Russia. Новая серия. Вып. 1 (9). Семидесятые годы как предмет истории русской культуры / Под ред. Н. Г. Охотина. М., 1998. С. 111–124.

Даниэлс 2011 — *Даниэлс Р. В.* Взлет и падение коммунизма. М.: РОССПЭН; Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2011 (серия: «История сталинизма»).

Дэвид-Фокс 2012 — *Дэвид-Фокс М.* Наступление на университеты и динамика сталинского Великого перелома (1928–1932 годы) // Расписание перемен. Очерки истории образовательной и научной политики в Российской империи — СССР (конец 1880-х — 1930-е годы). М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 523–563.

Каграманов 1998 — *Каграманов Ю.* «Жестоких опытов собирая поздний плод»: Кое-что о роли знания в истории // Новый мир. 1998. № 10.

Клемперер 1998 — *Клемперер В.* ЛТТ. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога. М.: Прогресс-Традиция, 1998.

Козлова 1997 — *Козлова Л.* Комплектование института красной профессуры, 1920-е годы // Социологический журнал. 1997. № 4. С. 209–220.

Липпман 2004 — *Липпман У.* Общественное мнение / Пер. с англ. Т. Н. Барчунова. М.: Институт фонда «Общественное мнение», 2004.

Лурье 2004 — *Лурье Я. С.* История одной жизни, 2-е изд., испр. и доп. / Сост., примеч. и библиогр. Н. М. Ботвинник. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2004.

Пайпс 1997 — *Пайпс Р.* Россия при большевиках. М.: РОССПЭН, 1997.

Рапопорт 2004 — *Рапопорт Н.* То ли был, то ли небыль: о времени и о себе. Ростов: Феникс, 2004.

Сарнов 2005 — *Сарнов Б.* Наш советский новояз. Маленькая энциклопедия реального социализма. М.: Эксмо, 2005.

Свешников 2012 — *Свешников А. В.* Система партийного образования в 1918–1930-х годах // Расписание перемен. Очерки истории образовательной и научной политики в Российской империи — СССР (конец 1880-х — 1930-е годы). М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 593–610.

Синявский 2001 — *Синявский А.* Основы советской цивилизации. М.: Аграф, 2001.

Советская историография 1996 — Советская историография. М.: Изд-во РГГУ, 1996.

Сорокин 1992 — *Сорокин П. А.* Современное состояние России // Новый мир. 1992. № 4. С. 181–203.

Социология и власть 2001 — Социология и власть. Сборник 2. Документы. 1969–1972. М.: Academia, 2001.

Степанов 2000 — *Степанов Л. В.* «Гнездо ревизионизма» // Пресса в обществе (1959–2000). Оценки журналистов и социологов. Документы. М.: Московская школа политических исследований. С. 200–227.

Травин 2011 — *Травин Д. Я.* Семидесятнугые – анализ поколения / Препринт М-25/11. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011.

Травин 2016 — *Травин Д. Я.* Гайдаровская реформа четверть века спустя: что пошло не так? / Препринт М-48/16. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2016.

Фирсов 2006 — *Фирсов Б. М.* Советская и постсоветская культура в исторической динамике и культурная дифференциация // Культуральные исследования. Сборник научных работ / Под ред. А. Эткинда и П. Лысакова. СПб.; М.: Европейской университет в Санкт-Петербурге; Летний сад, 2006. С. 29–90.

Хазанов 1991 — *Хазанов Б.* Русская интеллигенция. История безответной любви // Погружение в трясину (Анатомия застоя) / Сост. и общ. ред. Т. А. Ноткиной. М.: Прогресс, 1991.

Черняев 2008 — *Черняев А.* Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991. М.: РОССПЭН, 2008.

Шубин 2008 — Шубин А. В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М.: Вече, 2008.

Яковлев 2000 — Яковлев А. Н. Омут памяти. М.: Вагриус, 2000.

Ямпольский (б. г.) — Ямпольский Б. Исповедь (очерк) (http://www.belousenko.com/wr_yampolsky.htm).

Bell 1973 — *Bell D.* The Coming of Post-Industrial Society. A Venture of Social Forecasting. N.Y.: 1973.

Stojanovic 1981 — *Stojanovic S.* Marxism and Democracy: The Ruling Class or the Dominant Class? // Praxis International. 1981. Vol. 1. N 2.

Zubok 2009 — *Zubok V. M.* Zivago's Children: the last Russian intelligentsia. The Belknap Press of Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts and London, England, 2009.

Борис Фирсов
Остановка движения страны (1964–1985 гг.)

Препринт М-52/16
Часть II

В авторской редакции

Корректор — Д. Капитонов

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге
191187, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, 3А
books@eu.spb.ru

Подписано в печать 11.10.16
Формат 60x88 1/16. Тираж 100 экз.



**Центр исследований модернизации
Европейского университета в Санкт-Петербурге**

Книги, подготовленные сотрудниками М-Центра:

Травин Д., Маргания О. **ЕВРОПЕЙСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ**,
в 2 кн. М.; СПб.: АСТ, Terra Fantastica, 2004.

Маргания О.Л., ред., **СССР ПОСЛЕ РАСПАДА**.
СПб.: «Экономическая школа» ГУ ВШЭ, 2007.

Добронравин Н., Маргания О., ред., **НЕФТЬ, ГАЗ, МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**.
СПб.: «Экономическая школа» ГУ ВШЭ, 2008.

Gel'man V., Marganiya O., eds, **RESOURCE CURSE AND POST-SOVIET EURASIA:
OIL, GAS, AND MODERNIZATION**. Lanham, MD: Lexington Books, 2010.

Травин Д. **ОЧЕРКИ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РОССИИ. КНИГА ПЕРВАЯ: 1985–1999**.
СПб.: Норма, 2010.

Гельман В., Маргания О., ред.,
ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ: ТРАЕКТОРИИ, РАЗВИЛКИ, ТУПИКИ.
СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011.

Травин Д., Маргания О.
МОДЕРНИЗАЦИЯ: ОТ ЕЛИЗАВЕТЫ ТЮДОР ДО ЕГОРА ГАЙДАРА.
М.; СПб.: АСТ, Terra Fantastica, 2011.

Гельман В. **ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ. РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА ПОСЛЕ СССР**.
СПб.: БХВ-Петербург, 2013.

Добронравин Н. **МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБОЧИНЕ: ВЫЖИВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ В XX — НАЧАЛЕ XXI ВЕКА**. СПб.: Издательство Европейского
университета в Санкт-Петербурге, 2013.

Стародубцев А. **ПЛАТИТЬ НЕЛЬЗЯ ПРОИГРЫВАТЬ: РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И
ФЕДЕРАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ**. СПб.: Издательство Европейского университета
в Санкт-Петербурге, 2014.

Заостровцев А. **О РАЗВИТИИ И ОТСТАЛОСТИ: КАК ЭКОНОМИСТЫ ОБЪЯСНЯЮТ ИСТОРИЮ**.
СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2014.

Gel'man V., Travin D. & Marganiya O. **REEXAMINING ECONOMIC AND POLITICAL REFORMS
IN RUSSIA, 1985–2000: GENERATIONS, IDEAS, AND CHANGES**.
Lanham, MD: Lexington Books, 2014.

Gel'man V. **AUTHORITARIAN RUSSIA: ANALYZING POST-SOVIET REGIME CHANGES**.
Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2015.

Травин Д. **КРУТЫЕ ГОРКИ XXI ВЕКА: ПОСТМОДЕРНИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ РОССИИ**.
СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015.

Президент М-Центра — кандидат экономических наук **О.Л. Маргания**
Научный руководитель М-Центра — кандидат экономических наук **Д.Я. Травин**
Исполнительный директор — кандидат политических наук **В.Я. Гельман**

